

В. П.
АВЕНАРИУС

ЮНОШЕСКИЕ
ГОДЫ ПУШКИНА



О Пушкине

Василий Авенариус

Юношеские годы Пушкина

«Public Domain»

1887

Авенариус В. П.

Юношеские годы Пушкина / В. П. Авенариус — «Public Domain», 1887 — (О Пушкине)

«В солнечный полдень весною 1814 года по крайней аллее царскосельского дворцового парка, прилегающей к городу, брели рука об руку два лицеиста. Старший из них казался на вид уже степенным юношей, хотя в действительности ему не было еще и шестнадцати лет. Но синие очки, защищавшие его близорукие и слабые глаза от яркого весеннего света, и мечтательно-серьезное выражение довольно полного, бледного лица старообразили его. С молчаливым сочувствием поглядывал он только по временам на своего разговорчивого собеседника, подростка лет пятнадцати, со смуглыми, неправильными, но чрезвычайно выразительными чертами лица...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	11
Глава III	20
Глава IV	26
Глава V	35
Глава VI	41
Глава VII	48
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Василий Петрович Авенариус

Юношеские годы Пушкина

Биографическая повесть

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...
...Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.*

«Поэт»

Глава I

Лицейское междуцарствие

*Лошади шли шагом и скоро стали.
– Что же ты не едешь? – спросил я ямщика с нетерпением.
– Да что ехать? – отвечал он, слезая с облучка. – Невесть и так
куда заехали: дороги нет, и мгла кругом.
«Капитанская дочка»*

В солнечный полдень весной 1814 года по крайней аллее царскосельского дворцового парка, прилегающей к городу, брели рука об руку два лицеиста. Старший из них казался на вид уже степенным юношей, хотя в действительности ему не было еще и шестнадцати лет. Но синие очки, защищавшие его близорукие и слабые глаза от яркого весеннего света, и мечтательно-серьезное выражение довольно полного, бледного лица старообразили его. С молчаливым сочувствием поглядывал он только по временам на своего разговорчивого собеседника, подростка лет пятнадцати, со смуглыми, неправильными, но чрезвычайно выразительными чертами лица.

– Что же ты все молчишь, Дельвиг? – нетерпеливо прервал последний сам себя и, сняв с своей курчавой головы форменную фуражку, стал обмахиваться ею. – Однако, как жарко!..

– Да... – согласился Дельвиг, как бы очнувшись от раздумья.

– Что «да»?

– Жарко.

– Ну, вот! Битый час рассыпаю я перед ним свой бисер...

– Да я совершенно согласен с тобой, Пушкин...

– В чем же именно? Ну-ка повтори!

Дельвиг усмехнулся пылкости приятеля и дружелюбно пожал ему рукою локоть.

– Повторить, брат, не берусь. Я следил не столько за твоим бисером, как за тобой самим, и с удовольствием вижу, что ты делаешься опять тем же живчиком, каким был до смерти Малиновского.

– Да, жаль Малиновского! – вздохнул Пушкин, и легкое облако грусти затуманило его оживленный взор. – Такого директора нам уж не дожждаться...

– Ну, жаловаться нам на свою судьбу покуда грех: учись или ленись – ни в чем ни приказа, ни заказа нет; распевай себе свои песни, как птичка Божия...

– То-то, что еще не поется!.. Смотри-ка, кого это к нам несет? – прибавил он, подходя к чугунной решетке парка. – Таковую пыль подняли, что и не разглядишь.

Из-за столба пыли, приближавшегося по большой дороге, вынырнула в это время верхушка старомодной почтовой громады колымаги.

– Ноев ковчег! – рассмеялся Пушкин. – А на козлах-то, гляди-ка, рядом с ямщиком, старая ведьма киевская!..

– И нас с тобой, кажется, увидела, – подхватил Дельвиг, – машет сюда рукой...

– Верно, тебе, барон!

– Нет, я ее не знаю. Вот и зубы оскалила, головой кивает: верно, тебе, Пушкин.

Но Пушкин уже примолк и судорожно схватился рукою за холодную решетку.

«Неужели это няня Арина Родионовна?» – промелькнуло у него в голове, и дух у него заняло, сердце забилося.

Между тем колымага по ту сторону решетки поравнялась уже с ними. «Киевская ведьма» наклонилась с козел к окну колымаги. И вот оттуда, из-под развевающегося голубого вуаля, выглянуло свежее, как розан, личико.

– Александр! – донеслось к нему. Белый носовой платок взвился в воздухе – и колымага прогромыхала мимо, заволакиваясь прежним облаком пыли.

– Оля! – вырвалось у Пушкина, и он бегом пустился по тому же направлению, вверх по аллее, к выходным воротам парка.

– Кто это? – кричал ему вдогонку Дельвиг.

– Наши! – ответил, не оглядываясь, Пушкин и, добежав до ворот, бросился через улицу к лицу.

«Ноев ковчег» стоял уже у лицейского подъезда. Швейцар высаживал оттуда под руку видную даму лет тридцати пяти.

– Матушка! Какими судьбами? – окликнул ее по-французски Пушкин и хотел кинуться к ней на шею.

– Что с тобой, Александр? Обниматься на улице! – на том же языке охладила мать его неуместный порыв и дала ему приложиться только к ее лайковой перчатке.

Барон Дельвиг остановился на тротуаре в десяти шагах от них и был невольным свидетелем этой форменной встречи.

«Так вот она, Надежда Осиповна Пушкина, прекрасная креолка, как зовут ее во всей Москве, – сказал он про себя. – Действительно, она еще очень хороша, и какое изящество в каждом движении, какая надменность в осанке!»

Вслед за Надеждой Осиповной из колымаги выпорхнула, уже без помощи швейцара, молоденькая барышня. По фамильному сходству Дельвиг тотчас сообразил, что это сестра Пушкина, Ольга Сергеевна. Она, как видно, приняла к сведению замечание матери, потому что мимолетом только коснулась губами щеки брата.

Зато сползшая с козел старушка няня дала полную волю чувствам: пригнув к себе голову своего питомца, она так и прильнула к нему, осыпая поцелуями то одну его щеку, то другую.

– Сердечный ты мой! Сокровище мое! Единственный мой!.. – приговаривала она.

– Ты с ума сошла, Родионовна?! – старалась ее урезонить барыня.

– Помилуйте, сударыня! – оправдывалась расчувствовавшаяся старушка. – Не я ли его с самых пеленок взростила? Дороже он мне и родных-то ребят, ей-Богу, правда!

– Ну, ну, не рассуждай, пожалуйста! Полежай себе опять на козлы: скоро поедем дальше, – оборвала ее Надежда Осиповна; потом обратилась по-французски к сыну: – А уж тебе-то как не совестно, Александр?

Александр насилу высвободился из объятий няни; на глазах его блеснули слезы, когда он взглянул на стоявшего тут же Дельвига. Выражения глаз последнего нельзя было заметить за синими очками, но игравшая на губах его улыбка как бы говорила: «Вот тебе и киевская ведьма!»

Раскрасневшийся Пушкин только улыбнулся в ответ: старушка няня его, хотя и вся бронзовая от загара, имела такую простодушную, чисто великорусскую физиономию и выказала к нему такую непритворную материнскую нежность, что заподозрить в ней малорусскую ведьму, конечно, никому бы и в голову не пришло.

Надежда Осиповна вошла между тем в прихожую лица и на ходу, через плечо, небрежно сказала швейцару:

– Нельзя ли позвать ко мне пансионера Льва Пушкина?

– Слушаю-с, ваше превосходительство! – подобострастно отвечал швейцар, который с первого взгляда признал в ней по меньшей мере генеральшу.

Надежда Осиповна стала подниматься во второй этаж, шурша по каменным ступеням лестницы своим дорожным шелковым платьем; дочь и сын следовали за нею.

Здесь же, на лестнице, Ольга Сергеевна, украдкой от матери, крепко чмокнула брата и окинула его сияющим взглядом.

– Как ты, однако, Александр, вырос!

– И ты не меньше стала, – отшутился он, – совсем как взрослая – в длинном платье!

– Да ведь мне уж семнадцатый год. Ты меня сколько лет не видал. Но вот теперь мы будем видеться часто. Лето мы еще проведем в Михайловском¹, а к осени совсем уже переедем в Петербург.

– Вот как! И папа тоже? Отчего он не с вами?

– Папа? Да разве ты не знаешь, что он зимой еще отправился из Москвы в Варшаву начальником этой комиссариатской, что ли, комиссии нашей резервной армии?

– Да, правда, ну и что же?

– Ну и надоело ему, кажется, бросает службу и на днях должен съехаться с нами в Петербурге.

В приемной Надежду Осиповну встретил сухощавый и вертлявый чиновник. Осведомившись о цели ее прибытия, он с неловким поклоном отрекомендовался ей:

– Надзиратель по учебной части Василий Васильевич Чачков.

– Чачков? – переспросила Надежда Осиповна. – А не Пилецкий?

– Совершенно справедливо-с, – залебезил надзиратель, – предместник мой точно назывался Пилецкий-Урбанович, но месяца два назад его... как бы лучше выразиться?..

Он замялся и опасливо оглянулся на молодого Пушкина. Но тот с сестрою удалился уже в углубление окна, чтобы продолжать с нею там прерванную беседу.

– Не угодно ли вам присесть, сударыня? – спросил Чачков, указывая почетной гостье на клеенчатый диван.

Она села, а он остался на ногах перед нею и продолжал пониженным голосом:

– С предместником моим, извольте видеть, учинилось здесь нечто необычайное... Разве сынок ваш ничего не отписал вам?

– Писал, кажется, – как теперь припоминаю, – что Пилецкий ушел, но и только.

– Ушел... гм! Да-с... но форсированным маршем.

– То есть его «уходили»?

– Хе-хе-хе! Тонко изволили заметить. Однако мало ли что болтают. Не всякому слуху верь. Воспитанники, словно сговорившись меж собой, хранят дело в тайне. Нам же, начальству, ведомо лишь, что у них с господином Пилецким было секретное собеседование при закрытых

¹ Село Михайловское, Псковской губернии, имение Пушкиных.

дверях. О чем? Одному Богу да самим им только известно. На другое же утро господина Пилецкого и след простыл: укатил в Петербург невозвратно. Да-с, сударыня! – вздохнул преемник Пилецкого и снова покосился на Пушкина. – Могу сказать, тяжеленько-таки нынче нашему брату! Директора нам все еще не дают, и живем мы между небом да землей, как на шаре воздушном.

– Да ведь кто-нибудь поставлен у вас на место директора?

– Положим, что так... Я вас, сударыня, не беспокою своим разговором?

– Нет, отчего же! Мне, напротив, любопытно знать, какой у вас тут надзор за детьми.

– А мне, осмелюсь доложить, некая даже потребность облегчить душу... Как скончался, изволите видеть, в марте месяце покойный директор Малиновский (достойнейший, говорят, был человек; не имел чести его знать), так, впредь до окончательного назначения ему преемника, обязанности директорские его сиятельство граф Алексей Кириллович (министр наш, Разумовский) изволил возложить на старшего из господ профессоров, Кошанского. Но беда беду родит. Господина Кошанского постигла тоже тяжкая болезнь. И вот власть разделили: каждый из господ профессоров директорствует поочередно. Все они, положим, люди предпочтенные, но бывают здесь только наездом из Петербурга и спешат «распорядиться» каждый по своей части, не справясь толком, согласуется ли, нет ли «распоряжение» с мерами прочих содиректоров. Коли уже у семи нянек дитя без глазу, так спрашиваю я вас, сударыня: каково-то нашему многоголовому детишу-лицею у семи ученых мужей? Чем дальше в лес, тем больше дров, а где лес рубят, там щепки летят. Первой такой щепкой был мой бедный предшественник, второй щепкой чуть-чуть не сделался эконо́м наш Золотарев...

– А что было с ним?

– Что было с ним?... – повторил Чачков и прикусил язык. Теперь только как будто спохватился он, что чересчур уж откровенно излил перед посторонним лицом накипевшую у него на сердце горечь. – Да так, ничего-с, маленькое недоразумение с одним из воспитанников, но все теперь, слава Богу, улажено, а кто старое вспомнёт, тому глаз вон.

– Надеюсь, что воспитанник этот был не сын мой Александр? – спросила Надежда Осиповна, строго поглядывая в сторону сына.

– О нет-с!.. Скажу прямо: то был граф Броглио... Так вот как, сударыня. Одно слово: «междущарствие», как метко прозвали сами господа лицеисты это переходное время-с. И приходится нам, начальству их, идти потихонечку-полегонечку, лавировать, как меж подводных рифов, между строгостью и лаской.

Как нарочно, надзирателю пришлось тут же показать это «лавирование» на деле. В приемную вошел в высоких ботфортах, с хлыстом в руке темнолицый, чернобровый геркулес-лицеист. Похлопывая хлыстом по ботфортам, он так самоуверенно огляделся кругом, так беззастенчиво прищурился своими как смоль черными глазами на сидевшую на подоконнике, рядом с братом, Ольгу Сергеевну, что та вспыхнула и потупилась. С тонкой усмешкой переглянувшись с Пушкиным, он прошел далее.

– А, граф! – обратился к нему с товарищескою фамильярностью надзиратель. – Ну что, наездились верхом?

– Наездился, – нехотя отозвался тот и, проходя мимо, еще пристальнее всмотрелся в лицо красавицы матери своего товарища.

– Кто этот нахал? – спросила, негодуя, Надежда Осиповна, когда граф-наездник скрылся за дверью.

– А это, сударыня, тот самый граф Броглио, о котором я имел честь давеча вам докладывать. Он пользуется у нас привилегией ездить верхом в здешнем гусарском манеже.

Влетевший в это время вихрем второй сын Надежды Осиповны, Лев, Леон или Левушка, прервал разговор ее с надзирателем. Обняв и расцеловав по пути сестру у окна, он бросился к матери и, уже без околичностей, сжал ее также в объятиях. Младший сын был ей, очевидно,

дороже первенца. Сама порывисто приглубив мальчика, она усадила его около себя, вышитым батистовым платком отерла ему разгоряченное лицо и с одобрительной улыбкой заслушалась его детской болтовней.

Надзиратель Чачков деликатно отошел в сторону, да ему было теперь и не до них, потому что воспитанники, возвращавшиеся один за другим с прогулки и с шумным говором проходившие через приемную в столовую, требовали его полного внимания; каждому говорил он что-нибудь, по его мнению, подходящее и приятное.

– Дельвига я сейчас узнала на улице по его синим очкам, – говорила полупшепотом Ольга Сергеевна брату, который должен был называть ей по именам всех товарищей, проходивших мимо как бы церемониальным маршем.

– А этот блондин, верно, князь Горчаков? – спросила она, когда мимо них прошли опять два лицеиста, блондин и брюнет: первый – писанный красавец; второй – тщедушный, непривлекательный малый, с крупным носом и заметными уже усами.

– Да, Горчаков, – отвечал Александр. – Ты как догадалась, Оля?

– Да ведь ты же писал мне, что он в своем роде Аполлон Бельведерский...

– Не правда ли? Но он прекрасен не только телом, но и душой. Впрочем, Суворочка ему в этом отношении ничуть не уступит.

– Суворочка?

– Ну, да, тот брюнет, что шел с ним, – Вальховский, Суворочка или Sapientia².

– За что вы его так прозвали?

– За его выдержку и рассудительность. Поверишь ли: чтобы не изнежить своего слабого тела, он спит нарочно на голых досках, встает зимой в 4, летом в 3 часа утра; чтобы приучить себя к голоду, он постится по неделям, даже в мясоед отказывается от пирожного, от чаю; наконец, даже готовясь к урокам, чтобы тело не отдыхало, он кладет себе на плечи по толстейшему тому словаря Гейма. Прямой спартаец или Суворов.

– И, вероятно, тоже из первых учеников?

– Да, они оба с Горчаковым перебивают друг у друга пальму первенства; но, как ты сейчас видела, они в лучших отношениях между собой.

Обеденный колокол, сзывавший лицеистов в столовую, положил конец свиданию Пушкиных. Началось торопливое прощанье. Сестра и младший брат украдкой утирали глаза.

– Ничего, господа: вы можете проводить вашу матушку и до экипажа, – милостиво разрешил двум братьям надзиратель Чачков.

– Так смотри же, Александр, пиши ко мне, – говорила Ольга Сергеевна старшему брату, спускаясь с лестницы.

– Да ведь письма, сама ты знаешь, Оля, смерть моя, – отговаривался брат.

– Ну так пришли хоть стихи. Ведь ты теперь пишешь и по-русски. Обещаешь?

– Не знаю, право... В последнее время я совсем бросил писать...

– И слышать не хочу! Я жду от тебя предлинного и премилого послания в стихах. Так и знай!

Терпеливо сидевшая на козлах колымаги в ожидании господ няня Арина Родионовна собиралась теперь слезть опять наземь, чтобы как следует проститься со своим любимцем, Александром. Барыня повелительным жестом остановила ее. Зато, когда швейцар суетливо стал подсаживать «ее превосходительство» в колымагу, старушка подозвала к себе пальцем Александра и, наклонившись с козел, сунула ему небольшой пакет из толстой синей сахарной бумаги, перевязанный золотым шнурком.

– Спрячь, родной мой... – шепнула она. – Думала: сама благословлю образком Иверской Божьей Матери, да не довелось, вишь...

² Мудрость.

Еще несколько добрых пожеланий на дорогу, свист бича, окрик ямщика: «Трогай! Эй, вы, любезные!» – и громоздкий дедовский экипаж загромыхал по мостовой.

Пушкин едва мог дожидаться конца обеда. Пакет няни за пазухой не давал ему покоя. «Что-то положено у нее там?» После обеда он первым делом побежал вверх, в четвертый этаж, в свою комнату. Когда он сорвал с пакета золотой шнурок и развернул бумагу, сверху, как он и ожидал, оказался миниатюрный образок Иверской Богоматери на голубой шелковинке. Под образком же блестела целая груда новеньких и старинных серебряных монет, петровский рубль с просверленным ушком и один старый голландский червонец. И петровский рубль, и голландский червонец он видел когда-то в копилке своей скопидомки-няни; а теперь вот она все-все отдала ему!

На глазах его навернулись слезы умиления. С безотчетным благоговением приложился он губами к святому лику, расстегнул ворот и надел на себя образок. Деньги же няни он запер в конторку, мысленно обещая себе – ни за что, ни за что не истратить из них ни копейки!

Дня через два няня и сестра получили от него в Петербурге по посланию: первая – благодарственное в прозе, вторая – известное стихотворное «К сестре», начинающееся словами:

Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт молодой,
Беседовал с тобой...

Увиделся Пушкин снова с няней, матерью и сестрой только мельком, при обратном проезде их через Царское в село Михайловское, где с этого года семья Пушкиных проводила уже каждое лето. Арина Родионовна так и осталась в Михайловском; Ольга же Сергеевна, по возвращении в Петербург, по временам навещала брата-поэта то с отцом, то с матерью и была одним из его внимательнейших и снисходительнейших судей. Пример его даже ее заразил; сама она тайком от всех принялась упражняться в стихотворстве и уже на старости лет только призналась в том своим детям.

Глава II

На Розовом поле

*...Вы помните ль то Розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставляя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною игрой?
Граф Брозльо был отважнее, сильнее,
Комовский же проворнее, хитрее;
Не скоро мог решиться жаркий бой...
Где вы, лета забавы молодой?..*

«Отрывок»

В конце того же мая месяца двух братьев Пушкиных в царскосельском лицее навестил, по пути из Варшавы в Петербург, и отец их, Сергей Львович. Когда он небрежно скинул на руки швейцара свой пыльный дорожный плащ с капюшоном, на нем оказался наряд, по пестроте своей, пожалуй, не совсем уже соответствовавший его немолодым летам: зеленый фрак, клетчатый трехцветный жилет и полосатые панталоны. Когда-то наряд этот был очень модным; Сергей же Львович в молодости слыл в Москве, подобно брату своему, стихотворцу Василию Львовичу Пушкину, известным щеголем и с годами, не переняв новых мод, продолжал держаться излюбленной раз пестроты. Лицейский швейцар, «видавший виды», по пословице «по платью встречают, а по уму провожают», тотчас оценил приезжего по его изысканной, в своем роде, внешности, а также по той покровительственной важности, с которой он потребовал к себе обоих своих сыновей. Впрочем, за старшим из них, гулявшим где-то в парке, швейцару некого было сейчас послать, а сам он для этого не смел так надолго отлучиться из своей швейцарской; за младшим же он не замедлил побегать в лицейский пансион, который был рядом.

Наговорившись с Левушкой, по обычаю того времени, вперемежку – по-русски и по-французски, Сергей Львович вспомнил наконец опять о старшем сыне.

– А где же Александр?

– Он, верно, на Розовом поле, – отвечал Левушка.

– Это что ж такое?

– А большой луг, знаете, между большой руиной и капризом, где при Екатерине Великой, говорят, росли розы. Теперь его отвели лицеистам для их игр.

– Стреножили, значит, жеребчиков, чтобы другой травы не помяли? Ну что ж, пойдем, отыщем его.

Спустившись с сыном в парк, Сергей Львович остановился на минутку и взглядом знака окинул великолепный фасад императорского дворца.

– Семьдесят лет ведь прошло с тех пор, – промолвил он, – как граф Растрелли обесмертил себя этой колоссальной постройкой. Позолота, правда, сошла уж с крыши, карнизов и статуй; но стиль, смотри-ка, как выдержан: Людовик XIV да и только! Рассказывают, что когда императрица Елизавета Петровна прибыла сюда со всем двором и иностранными послами осмотреть новый дворец, один только французский посол, маркиз де Шетарди, не проронил ни слова.

– Что же, маркиз, вам не нравится мой дворец? – спросила Елизавета.

– Одной, главной вещи недостает, – отвечал он.

– Чего же именно?

– Футляра, чтобы покрыть эту драгоценность.

При дальнейшей прогулке по парку отцу с сыном попался на глаза лицеист в синих очках, который, полулежа на скамье, читал книгу.

– Это барон Дельвиг, друг Александра, – вполголоса пояснил Леон.

– Верно, он так прилежен, что даже не играет с другими?

Левушка рассмеялся.

– Напротив, так ленив, что не хочет играть. А читает теперь непременно какие-нибудь стихи.

– Сейчас узнаем, – сказал Сергей Львович и, подойдя к Дельвигу, очень вежливо снял шляпу:

– Если не ошибаюсь, барон Дельвиг, друг моего старшего сына, Александра Пушкина?

– Точно так, – отвечал, вставая, Дельвиг. – Вы ищете Александра? Он с другими на Розовом поле.

– А вы предпочли читать книгу? Позвольте полюбопытствовать.

Дельвиг не мог не подать ему книги.

– Так и знал: стишки, – снисходительно усмехнулся Сергей Львович. – Вы ведь тоже один из лицейских стихотворцев?

– Полкласса у них стихотворцы! – вмешался с живостью Левушка. – Барон да наш Александр из самых лучших. Один только Илличевский может помериться с ними. Какие, я вам скажу, у них эпиграммы, какие карикатуры! Особенно в карикатурном журнале. Сам гувернер наш и учитель рисованья, Чириков, поправляет эти карикатуры...

– Похвально, – произнес Сергей Львович таким тоном, что оставалось под сомнением: хвалит он иронически или серьезно. – И ко мне, за тридевять земель, дошли уже слухи, что у вас здесь сильно «зажурналилось» и «затуманилось», как выразился Державин, когда у нас на Руси чересчур расплодился журналы.

– В настоящее время у нас в лицее всего один журнал – «Лицейский мудрец», – заметил, как бы извиняясь, Дельвиг.

– Но сам барон – цензор этого журнала, – подхватил Левушка. – Корсаков – редактор, а Данзас – типографшик, то есть переписчик, потому что у него лучший почерк.

– Запретить вам, господа, баловаться стихами никто посторонний, конечно, не вправе, – наставительно заговорил Сергей Львович, и между бровями его появилась легкая складка, – но сыну моему Александру я строго закажу...

– Но вы же сами, папенька, пишете прекраснейшие альбомные стихи, – вступился за отсутствующего брата Леон.

– Альбомные – да. Всякий благовоспитанный человек нашего века обязан уметь: войти в комнату, болтать по-французски обо всем и ни о чем, знать наизусть тысячи изречений и сентенций, участвовать в спектаклях, живых картинах, общественных играх; точно так же он должен быть готов во всякое время, по первому востребованию, настроичить альбомный куплет по-русски, по-французски или на ином европейском диалекте. И в этом отношении, любезный барон, могу сказать без излишнего самохвальства, ваш покорный слуга дошел до некоторой виртуозности:

Вы приказали – повинуюсь
И дань спешу принести в альбом;
Хоть в стихотворцы я не суюсь,
Но воля ваша мне закон...

Вы, кажется, не одобряете моего куплета? – прервал сам себя декламатор, заметив, что Дельвиг закусил губу. – «Альбом» и «закон» не совсем богатая рифма – согласен. Но альбомный стих – дареный конь; а дареному коню в зубы не смотрят.

– Так видите ли, папенька, как хорошо, что Александр уж смолоду упражняется в стихах! – возразил Левушка. – В последние месяцы он что-то мало писал. Но есть у него одна вещичка: «Красавице, которая нюхала табак», – просто пальчики расцеловать!

– Хороша должна быть красавица, которая набивает себе нос табаком! Горгона какая-нибудь?

– О нет! Родная сестра лицеиста нашего, князя Горчакова, княгиня Кантакузен: молоденькая и прехорошенькая. Она как-то приезжала сюда к своему брату. Я вам сейчас скажу все стихотворение: я знаю его от доски до доски...³

– Не трудись! – сказал Сергей Львович.

– Нет, вы только послушайте, папенька, какие там есть стихи:

Ах! Если, превращенный в прах,
И в табакерке, в заточенье,
Я в персты нежные твои попасться мог, —
Тогда б я в сладком восхищенье...

– И так далее, – перебил Дельвиг, который не мог вынести насмешливой улыбки, показавшейся на губах отца его друга. – Александр будет очень рад вас видеть.

– Надеюсь, – с некоторою уже сухостью произнес Сергей Львович. – Вы, барон, не пойдете с нами?

– Нет, благодарю вас... Я почитаю.

– Так имею честь вам кланяться: больше, вероятно, не увидимся.

И в сопровождении младшего сына Сергей Львович отправился далее. На Розовом поле все прочие лицеисты, действительно, оказались налицо. Играли они в лапту, и игра их была в полном разгаре⁴. Один из горожан, сутуловатый великан, забежавший за противоположную черту поля, перебежал только что обратно в город.

³ Впоследствии, во время отсутствия А. С. Пушкина в Петербурге, брат его, Лев Сергеевич, был постоянным его комиссионером по книжным делам и, обладая удивительною памятью, говорил наизусть своим знакомым целые поэмы старшего брата. По этому поводу кем-то был сказан такой экспромт: Наш Лев Сергеевич очень рад, Что своему он брату брат.

⁴ Для читателей, незнакомых с игрою в *лапту*, опишем ее здесь несколько подробнее. Играющие из своей среды избирают двух – наиболее ловких и увертливых – начальниками, которые называются *матками*. По жребию (схватыванием подброшенной палки) обе матки решают, кому из них быть *старшей*, кому *младшей маткой*. Старшая, по жребию же (угадыванием произвольно взятых кличек), избирает себе подначальную команду из прочих товарищей, подходящих к ней попарно, после чего занимает со своей командой небольшой уголок – *город* – на предназначенном для игры месте. Младшая же матка со своей шайкой располагается враспынную в *поле*, т. е. на остальном пространстве ристалища, которое отгораживается от города небольшою, только в сажень ширины, нейтральною полосою. Один из *полевицков* с мячом в руке становится на пограничной черте поля и подбрасывает *горожанам* мяч. *Горожане* по очереди *сдают*, т. е. бьют по мячу *лаптою* – палкою с лопатообразным концом, стараясь зашвырнуть мяч возможно далее в *поле* или даже за крайнюю его черту. Вслед за сделанным ударом *горожанин* сам бежит через *поле*, чтобы перебраться за вражий стан, пока еще никто из врагов не успел *запятнать* его. *Пятнать*, однако, не дозволяется руками, а только тем же мячом. Чтобы удар был возможно меток, *полевицк*, первый подхвативший мяч, перебрасывает его к самому ловкому из ближайших к бегущему товарищей, и тот уже старается *запятнать* последнего. Если *запятнать* его удалось, то этим самым *полевицки* победили, *город* *взят*, – *полевицки* делаются *горожанами*, и наоборот. Точно так же игра кончена, если кто-нибудь из *полевицков* успеет поймать на лету *сданный* мяч, пока он еще не коснулся земли. Если очередной *горожанин* промахнулся лаптою в подброшенный ему мяч, то он на этот раз лишается права бежать через *поле* и становится на пограничной черте в ожидании, пока кто-нибудь из его товарищей *сдаст* более удачно. Тогда он вместе с последним бежит через *поле*. Старшая *матка* имеет три удара, чтобы в случае нужды выручать своих подначальных, и потому сдает всегда последнюю. Перебежав раз благополучно за *поле*, каждый *горожанин* может бежать в удобный момент обратно в *город*, и если при этом избегнет направленного против него врагами мяча, то приобретает опять право на один удар. Так продолжается игра, пока одного из *горожан* не *запятнают* или мяч не будет пойман на лету. Игра может быть прекращена исключительно по усмотрению обладателей города в данное время. *Горожане* нимало не утомляются игрою и, так сказать, почивают на лаврах, потому что изредка только сдают мяч и перебегают *поле*. *Полевицки* же, вынужденные поминутно

– Живей, Кюхельбекер! Не поддавайся, Виленька! – подбодряли его друзья-горожане.

Согнувшись в три погибели, Кюхельбекер неуклюже вымерял уже своими длинными журавлиными ногами половину вражьего стана, когда попал под неприятельскую бомбу: матка полевщиков, граф Броглио, несмотря на то что был левша, так метко угодил ему в голову мячом, что Кюхельбекер схватился за щеку и сделал козлий прыжок. Полевщики кругом так и заликовали, потому что этим бой был решен и город перешел в их власть.

– Стой, Кюхля! Не разгибайся! – раздался вдруг повелительный голос.

Добродушный и простоватый Кюхельбекер, не оправившийся от понесенного сейчас поражения, послушно согнулся еще круче в дугу. В тот же миг товарищ, крикнувший ему, разбежался на него сзади и, едва коснувшись руками его плеч, одним махом перелетел через него.

– Ай да Пушкин! Молодец Француз! – приветствовал его выходку дружный смех.

– Ни с места, Виленька! Побереги голову! – закричал вражеский атаман Броглио. Тем же порядком, как Пушкин, но с изяществом записного эквилибриста, перенесся он через ошеломленного Кюхельбекера.

Пример двух шалунов нашел усердных подражателей. С криком: «Ниже голову, Кюхля! Ниже!» – все враги-полевщики один за другим, более или менее ловко, перепрыгнули через беднягу.

Между тем Пушкин заметил уже присутствие отца.

– Ах, папа! – радостно вскричал он, но, вспомнив тотчас, как неодобрительно мать его отнеслась к пылким излияниям сыновней любви, не решился при других обнять отца.

Но Сергей Львович широко раскрыл уже сыну объятия, подставил для поцелуя щеку и с некоторою, как бы театральною, торжественностью прижал его к груди.

– Однако, ты все тот же сорвиголова, – заговорил он, выпуская сына из объятий. – Лежачего, ты знаешь, не бьют; *de mortuis aut bene, aut nihil*⁵, а Кюхельбекер ваш теперь тот же покойник.

– Совершенно верно, папенька, – весело отозвался Александр. —

Покойник Клит в раю не будет:
Творил он тяжкие грехи.
Пусть Бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи.

– Эпиграмма эта твоего собственного сочинения? – недоверчиво спросил Сергей Львович.

– Собственного. Илличевский еще перещеголял меня по этой части. Поди-ка сюда, Илличевский!

Тот не замедлил явиться на зов и почтительно поздоровался с отцом приятеля. На просьбу Сергея Львовича – сказать также одну из своих эпиграмм – он не стал долго чиниться и не без самодовольства продекламировал:

– Нет, полно, мудрецы, обманывать вам свет
И утверждать свое, что совершенства нет
На свете в твари тленной.
Явися, Виленька, и докажи собой,
Что ты и телом и душой
Урод пресовершенный.

гнаться за мячом вдоль и поперек по всему *полю*, до того по большей части изнемогают, что еле дышат и ноги волочат.

⁵ О мертвых говорят или хорошо, или ничего.

– На бедного Макара все шишки валятся, – заметил Сергей Львович.

– На то он и Макар, – легкомысленно подхватил Александр. – Пущин составил даже целый сборник эпиграмм на него: «Жертва Мому, или Лицейская антология»⁶.

Наблюдавший за играющими дежурный гувернер Чириков наклонился к Пушкину и шепнул ему:

– Пожалейте хоть несчастного! Вы видите: он вне себя.

И точно: Кюхельбекер был красен, как раззадоренный индейский петух. Размахивая своими длинными, как жерди, руками, захлебываясь и отдуваясь, он хриплым басом и с заметным немецким произношением слезно жаловался столпившейся около него кучке молодежи на причиненную ему обиду:

– Разве этак можно?.. Разве мы играем теперь в чехарду?

– Военная, брат, хитрость! – смеялся в ответ Броглио. – На войне допускается всякий фортель.

– Нет, не всякий! Всему есть мера, – заступилась за обиженного matka его – Комовский. – Сергей Гаврилыч – лицо незаинтересованное: пусть он решит, допускается ли такой фортель.

– И прекрасно! Пусть Сергей Гаврилыч решит.

Вся толпа хлынула к судье-гувернеру. Но разбирательство сомнительного вопроса было тут же приостановлено одним плотным, широкоплечим лицеистом.

– Стойте, господа! – крикнул он, поднимая руку. – Сергей Гаврилыч, позвольте мне два слова сказать.

– Не давайте ему говорить! Пускай он говорит! – перебивали друг друга обе враждебные партии.

– Говорите, Пущин, – сказал Чириков.

– Прежде всего, господа, – начал Пущин, – обращу ваше внимание на то, что мы здесь не одни. Меж нас, лицеистов, должен происходить суд – и что же? Какой-то молокосос-пансионер преспокойно слушает нас, подсмеивается над нами.

Все взоры обратились на Левушку Пушкина. По смешливости своей он, действительно, от души потешался также эпиграммами на Кюхельбекера; теперь же, сделавшись предметом общего внимания, он рад был сквозь землю провалиться. Прежде чем поднявшийся среди лицеистов ропот возрос до угрожающего протеста, пансионерик благоразумно юркнул в кусты и исчез.

– Может быть, и я здесь лишний? – спросил Сергей Львович, делая также шаг назад.

– Нет, папенька, вы-то оставайтесь! – поспешил остановить его старший сын. – Пансионеру нельзя было присутствовать при нашем самосуде. Но ваше присутствие нам даже лестно. Не правда ли, господа?

– Н-да, конечно... – нерешительно подтвердило несколько голосов.

– Это был первый пункт, – продолжал Пущин. – Второй пункт следующий: не вы ли сами, Сергей Гаврилыч, всегда твердили нам, что всякий спор нам лучше решать промеж себя, без всякого чужого посредничества?

– И повторяю опять то же, – сказал гувернер.

– Ну вот. Стало быть, отчего же нам и теперь не поладить одним, без вас?

– Сделайте одолжение, господа. Я, пожалуй, на время совсем удалюсь...

– Нет, нет, зачем! Чем более беспристрастных свидетелей, тем суд у нас будет справедливее и строже. Наконец, третий пункт: чего же требует от нас противная сторона? Каков спрос, таков и ответ.

⁶ Вот названия некоторых из этих эпиграмм: «Надпись на конную статую пушкаря В. фон Рекеблихера», «О Дон Кихоте», «Жалкий человек», «Виля Геркулесу», «На случай, когда Виля на бале растерял свои башмаки».

Атаман противной стороны, Комовский, выступил вперед.

– Пускай Пушкин формальным образом извинится перед Кюхельбекером.

– Извини, Виля... – начал Пушкин, подходя к обиженному.

Миролюбивый по природе, Кюхельбекер готов был уже принять протянутую руку, когда Пушкин закончил свою фразу:

– В другой раз я не стану прыгать, а заставлю тебя самого прыгнуть – через ножку.

– Вот он всегда так! – воскликнул Кюхельбекер, отдергивая руку. – Разве с ним можно мириться?

– Так вот что, господа, – выступил с новым предложением Комовский, – пускай Пушкин станет также в позицию, а мы все перепрыгнем через него. Долг платежом красен.

– Вот это так: на это я согласен! – обрадовался Кюхельбекер.

– А я – нет, – сказал Пушкин. – Я, Колумб, открыл Америку, а ты, Америго Веспуччи, хочешь пожать мои лавры!

– Лавры неважные, – вступился миротворцем Пушин, – да и не всякому же быть Колумбом. Я, господа, предлагаю среднюю меру. Теперь наш черед был в городе. Кого из нас запятнают, тот пусть и становится в позицию. От Кюхельбекера зависит попасть в Пушкина.

После некоторых еще препирательств предложение Пушина было принято большинством голосов. Комовский с Кюхельбекером и прочими полевщиками удалились в поле, тогда как граф Броглио с Пушкиным и остальными горожанами заняли город. Сергей Львович подсел к Чирикову на скамейку и завязал с ним оживленную беседу. С первых его слов губернатор мог убедиться, что перед ним образцовый собеседник. Все последние новости дня, анекдоты, каламбуры – неудержимым потоком, без всякого видимого усилия, так и струились с уст Сергея Львовича, точно он разматывал бесконечный клубок. С предмета на предмет он дошел и до последней политической новости – взятия Парижа. Как воочию перед глазами его внимательного слушателя развернулась вдруг живописная панорама «современного Вавилона», представлявшая пред союзными войсками с высоты Бельвиля и Монмартра; как воочию посыпался с этих высот на город огненный дождь гранат и бомб и заваял белый платок присланного к графу Милорадовичу парламентаря.

– Ради Бога, прекратите убийственный огонь!

– Стало быть, город сдается?

– Сдается.

– А армия?

– Армия ретируется.

– Ну, Бог с вами! Ретируйтесь.

– На следующий день с раннего утра любопытные парижане высыпали уже тысячами на улицы, на балконы и крыши, – с одушевлением продолжал рассказчик. – Никогда ведь еще не видали они этих варваров с берегов Ледовитого океана, одетых, как слышно, в звериные шкуры и лакомящихся сальными свечами. Но что за диво! Вместо каких-то косолапых получудовищ, под такт благозвучного военного марша, чинно и стройно выступали по улицам здоровяки-богатыри, молодцы-гвардейцы в щегольских мундирах европейского покроя; а командовавшие ими офицеры на всякий вопрос уличных ротозеев отвечали бойко и чисто по-французски.

– Неужели это русские? – повторяли парижане на все лады. – А где же сам император Александр?

– Вот он, вот Александр! – кричали другие. – На белом коне с белым султаном! Как он милостиво кланяется, как он прекрасен... Да слушайте же, слушайте: что он говорит такое?

– Да здравствует император Александр! – в восторге гремел кругом народ.

– Да здравствует мир! – отвечал государь. – Я вступаю к вам не врагом, а с тем, чтобы возвратить вам спокойствие и свободу торговли.

– Мы давно уже ждали ваше величество! – радушно крикнул один из французов.

– Я пришел бы и ранее, – не менее вежливо отвечал государь, – но ваша собственная храбрость задержала меня.

Так разглагольствовал Сергей Львович, а стоявший без дела, в ожидании своей очереди бежать в поле, старший сын его подошел ближе и подсел наконец к нему на скамейку. Прочие горожане-лицеисты точно так же невольно прислушивались к занимательному рассказу и вскоре всей толпой скучились около рассказчика.

– Как жаль, право, что всех этих подробностей мы здесь не знали раньше! – вздохнул Илличевский.

– А что? – спросил Сергей Львович.

– Да мы с такой жадностью читали в газетах о взятии Парижа. А тут раз профессор Кошанский, войдя в класс, объявил нам: «Европейская драма сыграна: Наполеон отказался от престола и удален на остров Эльбу; статуя его снята с Вандомской колонны, и Людовик XVIII объявлен королем. Наш император во всем блеске своего величия!» От восторга мы всем классом крикнули «ура!». Тогда Кошанский предложил нам, поэтам лицейским, попытаться сочинить патриотическую оду «На взятие Парижа».

– И вы сочинили?

– Да, двое из нас: я да Дельвиг.

– А ты, Александр, отчего же не написал?

– Да как-то не пишется...

– Но скоро вы про него кое-что услышите! – вмешался в разговор Пущин.

– Что же именно?

– Гм... изволите видеть... – замялся Пущин, – покуда об этом еще рано распространяться.

– Я тебя не понимаю, Пущин, – сказал Александр. – О чем это ты говоришь?

Пущин только загадочно улыбнулся.

– И не для чего тебе знать!

– Ну что ж это, господа? Какая это игра! – крикнул горожанам из-за нейтральной полосы Комовский. – Этак вас, конечно, никогда не запятнаешь.

Горожане нехотя заняли опять свои места. Очередь сдавать мяч была за Пушкиным. Стоявший рядом с ним Вальховский шепнул ему:

– Отдайся уж им в руки, Господь с ними!

– Как бы не так! – отвечал Пушкин. – Ты – Суворочка, так тебе сам Бог велит; а уж я-то, извини, добровольно не отдамся!

– И то, Пушкин, отчего бы тебе не потешить Кюхельбекера? – заговорил тут и другой сосед, Горчаков. – Смотри, как он нахохлился. Ну что тебе значит?

Пушкин ничего не ответил; но, сдав мяч, он не сейчас перебежал поле, а выждал, пока мяч достался в руки Кюхельбекеру: тогда только, не очень спешно, он пустился в путь. Неудивительно, что Кюхельбекеру удалось теперь запятнать его.

– Ага! Наконец-то! – захохотал тот. – Ну, становись-ка в позицию, становись!

Пушкин, казалось, уже раскаивался в своем великодушии. Он, хмурясь, огляделся; но делать нечего: беспрекословно наклонил спину. Кюхельбекер отошел на десять шагов, разбежался и совершил довольно ловкий, при своей грузности, прыжок.

Но тут... тут произошло что-то непостижимое. В следующее же мгновение прыгающий лежал уже распростертым на земле, а враг его с легкостью козы перескочил через него и, смеясь, возвратился в город.

Если он рассчитывал этот раз на чье-либо одобрение, то ошибся. Враги его громко зароптали, из друзей же только двое-трое расхохотались, но и те ни одним словом не поддержали его.

– О чем вы смеетесь, господа? – обратился к ним Суворочка-Вальховский. – По-моему, это ничуть не смешно, а очень даже печально.

Пушкина как варом обожгло.

– Почему печально? – запальчиво вскинулся он, искоса посматривая на отца и гувернера – немых свидетелей всей сцены.

– Потому что подставлять ножку хоть бы и врагу – недостойно настоящего лицеиста!

– Я и не думал подставлять ему ножки...

– Но давеча сам же ты сказал, что подставишь?

– Мало ли что! Виноват ли я, что он тяжел, как набитый мешок, и не усидел на мне?

Теперь в спор их вмешался Пуцин и отвел виноватого в сторону. Что говорил он ему – нельзя было слышать; но видно было, что Пушкину куда как не хочется сдаться на его доводы.

– Не урезонить! – сказал гувернеру Сергей Львович. – Я его слишком хорошо знаю. Еще таким вот мальчишкой (он указал на аршин от земли) это был самый отчаянный упрямец и задира, готов был спорить до слез...

– И здесь бывали у него тоже слезы, горючие слезы, – подтвердил Чириков. – Но спасибо Пуцину: он много подтянулся, умеет побороть себя. Вот увидите, что в конце концов Пуцин его переубедит.

И действительно, вслед за тем Пушкин, красный как рак, с беспокойно-бегающими глазами, подошел к Кюхельбекеру и самым чистосердечным тоном предложил ему повторить опыт, обещаясь «честным словом лицеиста» не уронить его. Но для Кюхельбекера, видно, довольно было и одного опыта. Молча приняв руку недавнего врага, он наотрез уклонился от предлагаемого удовольствия.

– А теперь, господа, не прогуляться ли нам к большому пруду? – сказал Чириков, приподнимаясь со скамейки. – Вы бы, Матюшкин, побежали вперед приготовить лодку.

Матюшкин, страстный рыболов и искусный гребец, был главным распорядителем водяных прогулок лицеистов. Но не успел он еще удалиться, как дело уже расстроилось. Возвратившийся внезапно Левушка Пушкин принес отцу приказ кучера Потапыча живее собираться в дорогу: лошади-де отдохнули.

Сергей Львович взглянул на часы и засуетился.

– В самом деле, давно пора, – сказал он, – жена в Питере дожидается, да и хотелось бы нынче вечером побывать с нею у одних знакомых, до переезда их на дачу. До свидания, господа! Очень рад, что познакомился.

С покровительственной миной пожав на прощанье руку гувернеру и ближайшим лицеистам, он в сопровождении обоих сыновей направился назад к лицу.

– О чем я хотел попросить вас, папенька... – вкрадчиво заговорил по-французски Левушка и запнулся.

– Вперед знаю, – благосклонно улыбнулся отец и щипнул его ласково за ухо. – Все денежки свои промотал. Так ведь?

– О нет, не промотал... Но надо, знаете, давать на чай сторожам, обзаводиться всякой всячиной...

– Наизусть знаю! – перебил со вздохом Сергей Львович и достал из кармана бумажник. – Вот тебе пять рублей. Будет с тебя?

Леон порывисто поцеловал отцовскую руку, подававшую ему кредитную бумажку.

– О, конечно!

– Ну, а вот тебе, так и быть, еще пять в придачу: на орехи.

– Не знаю, как и благодарить вас!.. А Александру, папенька? – наивно добавил он.

Отец сдвинул брови и, нерешительно роясь в бумажнике, через плечо оглянулся на старшего сына.

– Да тебе разве нужно?

– Нет! – коротко отрезал тот и крепко стиснул губы, точно боясь проронить лишнее слово.

– Очень рад, потому что у меня и без того, по случаю переезда, пропасть расходов, – с довольным видом сказал Сергей Львович, опуская бумажник обратно в карман.

Когда бричка, увозившая отца, скрылась из виду, Левушка обратился с вопросом к старшему брату:

– Да ведь у тебя, Александр, нет ни копейки? Ты недавно еще, я знаю, занял три рубля у Горчакова...

– А тебе что за дело?

– Да вот, возьми себе одну-то бумажку. Поделимся по-братски.

– Спасибо, брат... У меня из няниных денег остались еще старый червонец да петровский рубль... Но я не хотел их трогать...

– Ну, понятное дело. Бери же, сделай милость! Мне пять ли, десять ли рублей – все одно: живо пристрою.

Оставя в руках брата одну из пятирублевых, Левушка убежал с другой, чтобы «живо ее пристроить».

Глава III

Предатели друзья

*Предатели друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлюют
И плод уединенья
Тиснению предают...*

«К Дельвигу»

«Вестник Европы», издававшийся до 1803 года Карамзиным, потом некоторое время – Жуковским, а в 1814 году – Измайловым, был любимым журналом лицеистов. Поэтому едва только приходил с почтой новый номер этого журнала, как лицеисты просто дрались из-за него. То же было и с последним майским номером. На этот раз он ранее других очутился в руках Пушкина.

– Дай-ка мне немножко взглянуть, Пушкин, – сказал, наклоняясь над сидящим, Дельвиг, – я тебе сейчас возвращу.

Он отвернул обложку, чтобы пробежать содержание книжки.

– Ну что, ничего? – послышался сзади другой, тихий голос Пушина.

– Странное дело: ни того, ни другого! – ответил вполголоса же Дельвиг.

– Я ведь так и предсказывал тебе! Но ты не хотел...

– Что вы там шепчетесь? – обратился теперь к двум друзьям Пушкин.

Дельвиг как будто смутился. Пушин с усмешкой заглянул в глаза Пушкину.

– Мы справлялись, нет ли тут одного знакомого стихотворения, – сказал он.

Дельвиг дернул его за рукав; но было уже поздно.

– Какого стихотворения? – спросил Пушкин.

– Да твоего – «К другу стихотворцу».

– Клянусь вам, господа, я и не думал посылать его в какой бы то ни было журнал...

– А мы с Дельвигом были уверены, что ты скромничаешь: что это был тебе запрос от редактора в восьмом номере «Вестника».

– Запрос?

– Ну да; неужели ты не заметил?

Напрасно Дельвиг, из-за спины Пушкина, поднес палец к губам. Пушин, будто ничего не замечая, взял со стола восьмой номер «Вестника Европы» и тотчас отыскивал требуемую страницу.

– На вот, читай сам, – сказал он. Пушкин прочел следующее:

От Издателя

Просим сочинителя присланной в «Вестник Европы» пьесы, под названием «К другу стихотворцу», как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом не печатать тех сочинений, авторы которых не сообщили нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики.

– Действительно, довольно странно, – задумчиво произнес Пушкин, – что другой поэт выбрал как раз то же заглавие, что и я. Но вы оба, я думаю, очень хорошо помните, что свое стихотворение, вместе с другими негодными, я бросил в огонь.

– А если бы оно, паче чаяния, спаслось? – спросил Пущин. – Ведь оно, что ни говори, было очень и очень годно.

– Иконников-то расхвалил его.

– Ну вот. Так отчего бы ему не украсить страниц журнала?

В полминуты Пушкин изменился два раза в лице. Он вскочил со стула и, схватив под руку обоих друзей, потащил их вон из читальни.

– Послушайте, господа, – настоятельно приступил он к ним, остановясь в коридоре, – говорите уж начистоту: это ваши штуки?

– Знать ничего не знаем... – начал Дельвиг.

– Ведать не ведаем, – досказал Пущин. – Стихи – может быть, твои, может быть, и чужие. Если твои, то читатели тебе только спасибо скажут; если же чужие, то тебе от них ни холодно, ни жарко.

– Но согласитесь, господа, что я не давал никому права публиковать мою фамилию...

– А ты как бы подписался?

– Да, разумеется, не полным моим именем.

– Например?

– Например, вместо фамилии Пушкин одни согласные буквы наоборот: «Н. К. Ш. П.».

– Но тогда автором могли бы счесть, пожалуй, твоего дядю Василия Львовича.

– Ну, так впереди этих букв я выставил бы свое имя: Александр.

– Александр Н. К. Ш. П.? Очень хорошо. Так и будем знать.

– Что, что?

– Ничего! – отвечал Пущин.

Так Пушкин от заговорщиков ничего и не добился. Но каждую новую книжку «Вестника Европы» он ждал уже теперь с лихорадочным нетерпением. В первом июньском номере опять-таки ничего не оказалось. В следующем же хотя и не было послания его «К другу стихотворцу», зато совершенно неожиданно появилась за подписью «Русский» новейшая ода Дельвига «На взятие Парижа».

– Слышали, слышали, господа? – раздавалось по всем комнатам и переходам лицейским: – Дельвиг печатается в «Вестнике Европы»! Каков тихоня! Недаром говорится, что в тихом омуте черти водятся.

Один Пушкин молча пожал руку своему другу и посмотрел ему вопросительно в глаза. Но Дельвиг ответил только крепким рукопожатием и с виноватой улыбкой потупился.

Профессор русской словесности Кошанский по праву мог бы также гордиться этим первым плодом выступившей перед публикой лицейской музыки; но его не было уже в то время в Царском: он занемог (как сказано выше) тяжелою болезнью, которая на полтора года удалила его из лица. Временный же заместитель Кошанского, молодой адъюнкт-профессор педагогического института в Петербурге Александр Иванович Галич, успевший в короткое время своим мягким, открытым нравом расположить к себе лицейскую молодежь, сердечно поздравил Дельвига с первым печатным опытом.

– Почин дороже денег, – говорил он, – вы, барон, открыли дверь и другим товарищам вашим в родную литературу. Бог помочь! А чтобы достойно отпраздновать этот почин, я прошу вас и всех ваших друзей поэтов в мою хижину на хлеб-соль.

– Ваше благородие, позвольте узнать, – допрашивал, немного спустя, Пушкина лицейский обер-провиантмейстер и старший дядька Леонтий Кемерский, – какое такое празднество нонче у Александра Иваныча?

– У Галича? А ты, Леонтий, почем знаешь?

– Да заказали они у меня к вечеру всякого десерту: яблоков, да мармеладу, да кондитерского печенья-с...

– Нынче именины барона Дельвига, – усмехнувшись, отвечал Пушкин.

– Ой ли? Именины-то их, помнится, приходятся на преподобного Антония Римлянина, осенью, за три дня до большого Спаса?

– Да, то именины церковные, а нынче стихотворные: день стихотворного его ангела.

– Так-с.

В тот же день, в 5 часов, вместо вечернего чая с полу-булкой, Леонтий Кемерский собственноручно преподнес Дельвигу на маленьком подносе стакан шоколаду с тарелочкой бисквитов.

– Честь имеем поздравить ваше благородие с днем стихотворного ангела-с!

Надо ли прибавлять, что добровольное угощение это обошлось неожиданному имениннику вдвое дороже заказного?

Вечер у профессора Галича прошел для лицейских стихотворцев чрезвычайно оживленно. Первым делом, разумеется, была прочитана знаменитая отныне ода Дельвига, подавшая повод к торжеству⁷. После того Илличевский должен был также продекламировать свою оду на ту же тему и исполнил это с таким умением, что скроенная по точному образцу Ломоносова и Державина, напыщенная ода была прослушана всеми с видимым удовольствием и вызвала дружные аплодисменты.

– Ну, а теперь твоя очередь, Кюхля, – сказал Пушкин.

– Почему же моя? – застенчиво краснея, пробасил Кюхельбекер, однако стал расстегивать куртку, чтобы опустить руку в боковой карман.

– То-то, взял небось с собой. И я знаю даже – что.

– Ну уж нет!

– А хочешь, я тебе всю пьесу твою наизусть скажу?

– Говори!

Пушкин приподнял плечи и сгорбился, чтобы придать себе сутуловатую фигуру Кюхельбекера; после чего, подражая немецкому произношению последнего, с неестественным пафосом забасил:

– Страх при звоне меди заставляет народ уstraшенный
Толпами стремиться в храм священный.
Зри, Боже! Число великий унылых тебя просящих
Сохранить им цель труд многим людям принадлежащий...⁸

Все присутствующие покатывались со смеху, Кюхельбекер же, чуть не плача, вскочил на ноги, нервно застегнул опять расстегнутую пуговицу куртки и завопил:

– Это уж не по-товарищески!.. Такой чепухи я никогда не писал... Да и теперешние стихи мои совсем другие...

Он так круто повернулся к выходу, что наткнулся на стул и уронил его с грохотом. Пушкин насильно усадил разобиженного на прежнее место.

⁷ Вот наиболее удачные стихи этой, вообще довольно слабой в литературном отношении, пьесы: Зевс вдруг кинул перуны, Горы в песок превратились. Рухнули с треском на землю И – подавили гигантов... Где же надменный Сизиф? Иль покоряет россиян?... Нет, гром оружия россов Внемлет пространный Париж! И победитель Парижа, Нежный отец россиянам, Пепел Москвы забывая, С кротостью галлам прощает — И как детей их приемлет. Слава герою, который Все побеждает народы Нежной любовью — не силой!..

⁸ Так буквально приводит А. С. Пушкин на память в письме к брату своему Льву Сергеевичу из Кишинева, от 4 сентября 1822 года, стихи Кюхельбекера «Гроза С-т Ламберта».

– Экой ты, Вильгельм Карлыч, недотрога, право! Настоящий Дон Кихот Ламанчский: готов сражаться с баранами да с ветряными мельницами.

– А ты, Пушкин, что: баран или ветряная мельница? – спросил с кисло-сладкой улыбкой Кюхельбекер.

Пушкин, как и прочие, рассмеялся.

– Каков? Острит тоже! Нет, не шутя, Кюхельбекер, последние опыты твои не в пример лучше прежних – публично здесь заявляю: ты со дня на день совершенствуешься, и те стишки, что у тебя в кармане, я уверен, первый сорт. Покажи-ка их.

– Неохота доставать... – продолжал дуться Кюхельбекер.

– Я тебе помогу, – сказал Пушкин, живо расстегнул ему ту же пуговицу и полез уж к нему рукой за пазуху.

– Отстанешь ли ты?! – окрысился опять Кюхельбекер и так сильно толкнул озорника локтем в бок, что отбросил его на середину комнаты.

– Однако же костляв ты! Прямой Дон Кихот! – проворчал Пушкин, морщась от боли и потирая бок.

– А у вас самих, Пушкин, разве ничего не припасено? – спросил Галич, чтобы отвлечь общее внимание от лицейского Дон Кихота.

– Нет... да и стихов, я полагаю, на сегодня довольно. Хорошего понемножку.

Разговор перешел на другую тему. Закончился «вечер» довольно поздно, и профессор-хозяин при прощании выразил уверенность, что он видит молодых гостей у себя не в последний раз. Он был с ними так радушен и мил, что все разошлись по своим камерам вполне довольными, за исключением разве одного – Кюхельбекера: никто и не вспомнил потом о хранившемся у него за пазухой стихотворном кладе! Зато, лежа уже под одеялом, он на сон грядущий доставил себе то духовное наслаждение, которого лишил приятелей: вполголоса перечел он про себя свое произведение, после чего с невольным вздохом положил его себе под изголовье. Для чего? Быть может, для того, чтобы перечесть его еще раз поутру или же в надежде, что оно навеет ему, непризнанному таланту, утешительный сон.

Пушкин, потушив свечу, также не сейчас заснул. Поворочавшись на кровати, он наконец постучался в стену, отделявшую его камеру от соседней камеры Пущина. На ответный стук друга (кровать которого стояла около той же стены) он начал было:

– Я хотел спросил тебя, Пущин... Ты догадываешься, конечно, о чем?

– Очень может быть, – был ответ.

– Так скажи же мне откровенно...

– Что?

– Ну, да то, что мне хочется знать.

– Отчего же ты прямо не спросишь?

– Оттого что... Ты, стало быть, не хочешь сказать? Ну, и не нужно! – оборвал разговор Пушкин, задетый за живое, что друг его не был настолько великодушен, чтобы облегчить ему задачу.

– А я вот что тебе скажу, голубчик, – мягко и убедительно заговорил Пущин, – много еще в тебе этих ребячьих капризов: подай тебе сейчас игрушку, а не подашь, так ты готов человека насмерть разобидеть, в клочья разорвать. Одно из двух: либо я знаю, что тебе надо знать, либо не знаю. Ежели знаю да молчу, то, значит, у меня есть свои причины молчать. Если же не знаю, то на нет и суда нет.

– Ну и знай про себя, и поперхнись этим! – раздраженно крикнул Пушкин.

– Ты волнуешься совершенно напрасно, – по-прежнему миролюбиво продолжал Пущин. – Тебе хочется выведать чужую тайну; но тайна эта не моя только, но и Дельвига; он готовит тебе сюрприз...

– Молчи же, молчи! – перебил опять Пушкин. – Я заткнул уши и все равно ничего не услышу.

Собственно говоря, ему не было уже никакой надобности затыкать уши: слово «сюрприз» настолько разоблачило перед ним скрываемую друзьями тайну, что сердце в груди у него слышно заекало. Но ему все еще как-то не верилось, чтобы они на свой страх так распорядились его литературной будущностью.

Протекли еще две томительные недели. Пришла новая книжка «Вестника Европы». Хищным коршуном накинута опять первым на нее Пушкин. Дрожащими руками отвернул он обертку книжки, где на обороте стояло оглавление.

Вдруг кровь, как молотком, ударила ему в голову. Он исподлобья быстро огляделся в читальне: не наблюдает ли кто за ним?

Но три-четыре товарища, случившиеся там, были погружены в чтение новых газет и журналов, а Дельвига и Пушина, на его счастье, не было налицо. Глубоко переведя дух и отвернувшись от ближайшего соседа настолько, чтобы тот не мог заглянуть к нему в книжку, он отыскал в ней то, что ему нужно было.

Да, вот оно, от слова до слова, его драгоценное духовное детище, послание «К другу стихотворцу», которое он считал навеки погибшим.

Он не читал – он пожирал глазами строку за строкой.

Сколько раз ведь он перечеркивал, переделывал каждый стих! А теперь вот эти самые стихи нашли место в большом журнале среди статей заправских, всеми признанных писателей, точно так и быть должно, и смотрят на него из книги настоящими печатными литерами: ни слова в них уже не убавишь, не прибавишь... И по всей-то матушке Руси в это самое время тысячи читателей и читательниц перечитывают, может быть, эти рифмованные строки и – как знать? – рассуждают про себя: «Каков, однако, молодчина! Славно тоже рифмует! И интересно бы знать: кто этот новоявленный рифмотор?»

Рифмотор наш теперь только внимательно взгляделся в подпись. Так и есть ведь! – четким, жирным шрифтом напечатано внизу буквально так, как он сказал тогда Пушину: «Александр Н. К. Ш. П.».

– Ах, злодеи, злодеи!.. – пробормотал он про себя.

– А? Что ты говоришь? – откликнулся сосед-лицеист, поднимая голову.

– Ничего... я так...

Захлопнув книгу, Пушкин побежал отыскивать двух «злодеев». Первым попался ему Пушин, который по насупленным бровям и сияющим глазам приятеля тотчас смекнул, в чем дело.

– Ну что, узнал нашу тайну? – спросил он, сам светло улыбаясь.

– Узнал, – отвечал Пушкин, несколько обескураженный его приветливостью. – До сих пор я считал вас обоих за добрых товарищей, а теперь вижу, что вы – Иуды-предатели...

– Потому что хлопчем о твоей славе? Впрочем, я тут почти ни при чем. Дельвиг спас тогда твои стихи от сожжения; мне пришла только мысль послать их, вместе со стихами Дельвига, в «Вестник Европы».

В это время подошел к ним и второй «предатель» – Дельвиг.

– От тебя-то, барон, я уж никак не ожидал такого коварства, – с оттенком упрека еще сказал ему Пушкин.

– Так, стало быть, напечатано! – воскликнул Дельвиг. – Ну, от души поздравляю тебя, мой милый! Я так рад...

– А я, может быть, вовсе не рад! Если бы я только не был убежден в том, что вы не желаете мне зла, то навсегда перессорился бы с вами. Теперь же, право, не знаю, что делать с вами...

– А я знаю! – с дружелюбным лукавством отозвался Пушин.

– Что же?

– Да расцеловать нас обоих.

Как ни крепился Пушкин, чтобы не обнаружить своего скрытого удовольствия, – теперь он мгновенно просветлел, расхохотался и в точности исполнил совет приятеля: звонко чмокнул по три раза сперва одного, потом другого.

– Но, пожалуйста, господа, дайте мне слово не рассказывать другим, – попросил он в заключение.

Они дали слово. Но это ни к чему не повело. На другое же утро, вместо стакана чаю, перед каждым лицеистом очутилось по чашке кофею и по «столбушке» сухарей.

– С днем стихотворного ангела-с, ваше благородие! – говорил опять Пушкину Леонтий Кемерский.

– Ай да Пушкин! Спасибо за угощение! – наперерыв кричали ему товарищи.

Пушкин с укором взглянул на двух предателей-друзей; но те с самым невинным видом покачали головой: очевидно, ни тот, ни другой не знали, кто выдал стихотворного именинника.

После кофею Пушкин тотчас же отыскал обер-провиантмейстера в его каморке и потребовал у него отчета.

– Не велено сказывать вам, сударь, – уклонился Леонтий и, как ни настаивал Пушкин, не назвал-таки нового предателя.

– А что я тебе должен за кофей? – спросил Пушкин.

– Ничего-с: все уже справлено.

– Заплачено? Кем же?

– Не велено сказывать.

– Заладил свое! Подарков я, братец, ни от тебя и ни от кого не принимаю.

– Отчего ж, коли от доброго сердца? А у Вильгельма Карлыча сердце, можно сказать, золотое...

– А! Так это Кюхельбекер!..

– Типун мне на язык! – спохватился старик дядька. – Уж сделайте такую Божескую милость, ваше благородие, не выдавайте меня, старика! Господин Кюхельбекер вовек мне сего не простит: сердце у него хошь и добреющее, да ух! какое разгорчивое...

– Ладно, не бойся, – успокоил его Пушкин и, встретив затем Кюхельбекера, пожал ему украдкой руку со словами: «Спасибо, дружище! Ты тоже поэт в душе и понимаешь поэта».

Тот покраснел от счастья и пробормотал:

– Ты слишком добр, Пушкин... Мне далеко до тебя... Но если бы ты только позволил мне иногда давать тебе на просмотр мои стихи...

Пушкина покорило, но нечего было делать.

– Хорошо, сделай одолжение, – сказал он.

Таков был печатный дебют великого нашего поэта. Первая литературная неудача его (описанная в первом нашем рассказе) была окончательно забыта и искуплена последним успехом. Не только товарищи, но и профессора, в особенности профессор русской словесности Галич, относились к нему с этих пор с большею внимательностью, а маленькие пансионеры даже с видимым уважением. Справедливость, впрочем, требует сказать, что младший брат поэта, пансионер Левушка, прилагал всевозможные старания к еще большему прославлению брата между своими сверстниками; между лицеистами же более всего трубил о нем не Дельвиг, не Пуцин, а новый восторженный поклонник его Кюхельбекер. Самому Пушкину сдавалось, что он как будто вдруг на вершок вырос и смелее, веселее прежнего стал глядеть теперь всем и каждому в глаза.

Одна только мимолетная тучка затмила раз над ним ясный небосклон. В следующем письме к нему от отца из деревни была такая приписка:

«Брат Василий Львович неодобрительно пишет мне из Москвы, что ты напечатал какую-то вещицу в журнале Измайлова. Правда ли это? Рано пташка запела: как бы кошка не съела!»

Глава IV

Павловский праздник

*Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он...*

*«Была пора: наш праздник молодой...»
В царском доме пир веселый...
«Пир Петра Первого»*

Одиннадцатого июля надзиратель Чачков созвал лицеистов в рекреационный зал.

– Только что, господа, в здешний дворец прискакал курьер от нашего возлюбленного монарха, – объявил он. – Победоносная армия наша, совершив свое великое дело, возвращается из Парижа; сам же государь завтра пожалует к нам в Царское и будет отдыхать здесь от перенесенных трудов.

Легко представить себе, как заволновалась при таком радостном известии лицейская молодежь, которая, начиная с войны 1812 года, с живым участием следила по газетам за каждым, так сказать, шагом нашей армии и императора Александра.

– Одного только не забудьте, господа, – продолжал надзиратель, заметив, какое сильное впечатление произвело его сообщение на молодых людей, – государь хочет день-другой уединиться здесь, подышать на полной свободе. Поэтому обещаетесь ли вы поумерить вашу... как бы лучше выразиться? – вашу юношескую удаль и не нарушать его покоя?

– Мы уж не малые дети, Василий Васильич, – отвечал серьезно за себя и товарищей Суворочка-Вальховский, – мы очень хорошо понимаем, что государю нужен также отдых и что с нашей стороны было бы крайне бестактно соваться к нему на глаза, хотя все мы и горим желанием выказать ему нашу беспредельную преданность и любовь.

– Успеете, господа. Государя встречают теперь везде с таким восторгом, с такими затеями, что у нашего брата, простого смертного, голова бы кругом пошла. Вот и в самом близком соседстве нашем, в Павловске, августейшая мать его, Мария Федоровна, готовит, говорят, небывалый праздник.

На вопрос любопытствующих: в чем же именно будет заключаться этот праздник? – Чачков отозвался незнанием и, выразив еще раз уверенность, что господа лицеисты не забудут своего обещания, удалился.

– Где же наш ходячий листок, Франц Осипыч? – толковали меж собой лицеисты. – Когда нужно, тогда и нет его.

Но обвинение почтенного лицейского врача было преждевременно. Не успели молодые люди разойтись, как на пороге показалась полная, сановитая фигура Пешеля. Лицеисты мигом окружили его.

– Где вы это пропадаете, Франц Осипыч? – накинулись они на него. – В Павловске затеяется что-то небывалое, а вы и в ус себе не дуете.

– Я-то в ус не дую? – переспросил Франц Осипович и с самодовольной усмешкой закрутил над тщательно выбритой верхней губой воображаемый ус. – Вы спросите-ка лучше: откуда я сейчас?

– Откуда?

– Оттуда же, из Павловска.

– А!

– Б! – передразнил доктор. – В Розовом павильоне там устраивается, в самом деле, нечто грандиозное.

– В Розовом павильоне! Это что такое?

– А простенький сельский домик, который окрашен розовой краской и обсажен кругом розовыми кустами.

– Да и на панелях, внутри него, нарисованы розы, – вмешался хриплым басом Кюхельбекер, который детство свое провел в Павловске, где покойный отец его был комендантом. – В окнах же павильона, знаете, эоловы арфы, так что когда подходишь к нему, то еще издали кажется, будто слышишь небесную музыку:

Глагол времен, металла звон...

– Пошел! Поехал! – перебили его товарищи. – Ну и что же, доктор? Говорите, рассказывайте!

– А вот что, – с важностью докладчика начал доктор. – Через две недели павильон будет неузнаваем. Полагается пристроить к нему еще пару маленьких горниц, наружную галерею и наконец большой танцевальный зал. Работа уже закипела. Но и это еще не все. Будет двое триумфальных ворот, будет декорация на заднем плане с изображением настоящей русской деревни. Тут же будет разыгран в лицах «пастораль»: крестьян и крестьянок будут изображать первые сюжеты императорской оперной и балетной труппы, а коров, овец да коз...

– Вторые сюжеты? – шутливо досказал Пушкин.

– Нет, любезнейший, – отвечал, улыбнувшись, Петель, – тех на сей раз возьмут с царской фермы. Главный режиссер всего праздника, придворный балетмейстер Дидло, так и объявил государыне: «Дайте мне, ваше величество, ваших коров, овец, коз; сыр от этого не будет хуже⁹. Дайте мне мужиков, баб, девушек, детей, всю святую Русь! Пусть все пляшет, играет, поет и веселится. Ваши гости совсем сделались парижанами: пусть же они снова почувствуют, что они русские!» Заместо простых мужиков да баб, впрочем, предпочли взять поддельных – оперных и балетных.

– Вот куда бы попасть! – вздохнул Пушкин.

– Я-то попаду! – похвастался граф Броглио.

– Это каким путем?

– Да уж попаду!

До позднего вечера у лицеистов только и было разговоров, что о государыне и предстоящем празднике в Розовом павильоне. Удалившись в свою камеру и улегшись в постель, Пушкин опять не утерпел, чтобы через стенку не обменяться занимавшими его мыслями с соседом и другом своим Пушциным.

– Как ты думаешь, Пуцин, – спросил он, каким образом Броглио надеется попасть в Павловск?

– Вероятно, через своего посланника: – тот, может быть, действительно выхлопочет ему разрешение у министра; а нет – так Броглио станет и на то, чтобы улизнуть туда тайком.

– А отчего бы и нам с тобой не попробовать того же?

– Ну нет, друг мой, – возразил более благоразумный Пуцин, – удрать не большая мудрость, но вернуться назад незамеченным – куда мудрено. А заметят, так донесут министру, и тот по головке не погладит.

– Но упустить такой единственный случай, согласись, ужасно обидно!

– Обидно – правда. Но мало ли чего кому хочется? По-моему, коли уж на то пошло, то лучше действовать честно и открыто: через Чачкова просить самого министра.

– Хорошо, если выгорит.

⁹ На императорской ферме готовился в то время швейцарский сыр, который отправляли даже на продажу в Петербург.

– А не выгорит – так, значит, не судьба. Завтра же попытаем счастья.

Сказано – сделано. На следующее утро, подговоренные двумя друзьями, лицеисты гурьбой повалили к надзирателю – просить заступничества перед графом Разумовским.

– Право, затрудняюсь, господа, – с обычной мягкостью начал было отговариваться Чачков. – Ведь это одно из тех редких торжеств, где много званных, да мало избранных...

– Так мы удерем без спросу! – вырвалось сгоряча у Пушкина.

– Что вы! Что вы! Перекреститесь! – не на шутку переполошился надзиратель и замахал руками. – Да за такое ваше любопытство...

– Это не простое любопытство, Василий Васильич, – с горделивою скромностью прервал его тут князь Горчаков, – это патриотизм, очень понятное желание каждого сына отечества своими глазами видеть торжество нашего спасителя – государя. Едва ли нас за это казнят, не помилюют.

– Браво! Браво, Горчаков! – загалдел кругом хор товарищей. – Нет, Василий Васильич, лучше уж напрямик доложите министру, что мы такие, мол, патриоты...

– Что удерете даже без начальства? Я сделаю, господа, все, что от меня зависит...

– Ей-Богу?

– Да, да...

Что Чачков сделал все возможное – лицеисты убедились вскоре: за несколько дней до праздника, действительно, было получено из Петербурга официальное разрешение всем им присутствовать на торжестве.

Между тем 12 июля в Царское Село, как предупредил их надзиратель, прибыл уже из заграничного похода император Александр. По особо выраженному им желанию, прибытие его не сопровождалось никаким наружным блеском: все осталось как бы в будничной колее, и только императорский флаг, развевавшийся над кровлей дворца, свидетельствовал о присутствии высокого хозяина.

Лицеисты, верные обещанию, которое взял с них Чачков, избегали попадаться на глаза государю. Но вовсе его не увидеть – было для них невысказано. И вот из-за густой чащи деревьев они тихомолком наблюдали за ним, когда он, в глубокой задумчивости, прохаживался иногда по уединенным аллеям парка. А Дельвиг, в поэтической своей рассеянности, забрел однажды слишком даже далеко и очутился лицом к лицу с императором. Он до того оторопел, что остановился как вкопанный и тогда лишь догадался сорвать с головы фуражку, когда Александр Павлович обратился к нему с милостивым вопросом. Рассказывая потом товарищам об этой встрече, хладнокровный по природе Дельвиг все еще не мог успокоиться и не умел передать в точности своего разговора с государем.

– Знаю одно: что он был со мною так ласков, – говорил он, – что, право, теперь я за него пойду хоть в огонь и в воду!

Граф Броглио между тем успел уже завязать знакомство с молодым светским офицером, прибывшим вместе с государем. От него лицеисты узнали несколько интересных подробностей о пребывании русских в Париже. Особенное впечатление произвел на них рассказ о том, как праздновалось там Светлое Христово Воскресение. После большого парада войска наши заняли площадь Людовика XVI, или Согласия. На высоком амвоне было совершено здесь православным духовенством торжественное благодарственное молебствие за низложение Наполеона и за воцарение вновь Бурбонов. Французы наравне с русскими преклонили колени, плакали и молились за освободителя всей Европы – императора Александра. По русскому обычаю, государь пред лицом всего народа похристосовался и с французскими маршалами при громе пушек, сделавших 101 выстрел. Запрудившая всю громадную площадь стотысячная толпа, как один человек, восторженно кричала: «Да здравствует Александр I! Да здравствует Людовик XVIII!»

В своем Царском Селе Александр Павлович на этот раз пробыл не более суток. В Петербурге, как слышали потом лицеисты, он точно так же отменил приготовленную для него торжественную встречу. Когда же ему от имени синода, сената и государственного совета был поднесен верноподданнический адрес, то, скромный в своем величии, монарх наотрез отказался принять предложенное ему наименование Благословенного. Зато, когда он 14 июля подъехал к Казанскому собору, чтобы присутствовать на молебне, народ бросился к его коляске и огласил воздух такими единодушными криками восторга, что ему невозможно было сомневаться в безграничной благодарности народной.

С каким нетерпением ожидали лицеисты 26 июля – день, назначенный для Павловского праздника, – нетрудно себе представить. Наконец, забрезжило желанное утро. Но, Боже мой! Что ж это такое? Словно теперь и силы небесные сговорились против них. Дождь лил как из ведра, а небо было застлано такой сплошной серой пеленой, что на перемену погоды не было никакой надежды. Хотя к полудню ливень поутих, но в середине обеда зарядил снова, так что у лицеистов даже аппетит отбило.

– Неужели же праздника не отменяют? – жаловались они.

– Да, в такое ненастье, извините, я вас никак не могу пустить, господа, – объявил Чачков, – до ниточки промокнете.

Но доктор Пешель явился опять добрым вестником, что праздник, по распоряжению императрицы Марии Федоровны, отложен до следующего дня.

– Слава Тебе, Господи! – вздохнули с облегченным сердцем лицеисты. – Только бы завтра не было дождя.

Опасения их, однако, не оправдались. Хотя с утра небо было еще туманно, но барометр значительно поднялся, и с половины дня погода совсем разгулялась. Барометр душевного настроения лицеистов показывал также самую ясную погоду. Ровно в пять часов, напившись чаю с полубулкой, они в парадной форме: мундирах, треуголках и ботфортах, – перешучиваясь, пересмеиваясь, выстроились в ряды, чтобы под наблюдением надзирателя Чачкова, гувернера Чирикова и старшего дядьки Кемерского тронуться в путь. Но перед самым выходом встретила задержка. Вбежавший впопыхах сторож вполголоса отрапортовал надзирателю, что «супруге его высокоблагородия с ягодой одним никак не управиться».

Чачков заметался и схватился за голову.

– Ах, Матерь Пресвятая Богородица! Не разорваться же мне... Скажи, что я не могу, что долг службы прежде всего...

– Не смею, ваше высокоблагородие, – отозвался сторож. – Барыня и так уж больно гневаться изволят, такого мне пфеферу зададут...

Надзиратель в отчаянии огляделся кругом: не выручит ли его добрый ангел из беды. Такой нашелся в лице молодого профессора Галича, очередного дежурного директора, который в это время стоял тут же и беседовал с лицеистами.

– Не могу ли я чем-нибудь пособить вам, Василий Васильич? – спросил он, подходя к растерявшемуся надзирателю.

– И то, батюшка Александр Иванович! Будьте благодетелем! – обрадовался Чачков и, взяв под руку профессора, отвел его к окошку. – У меня в доме, знаете, нынче как раз варенье варится...

– Ну, уж по этой части я круглый невежда, – сказал с усмешкой Галич.

– Да нет-с, не в том дело-с. Супруге-то моей одной, без меня, никак не управиться: почистить, знаете, ягодку, ложкой помешать варево в тазу потихонечку да полегонечку, знаете, чтобы не подгорело...

Граф Броглио, подслушавший их разговор, счел нужным вставить свое острое слово:

– Мы бы вам, Василий Васильич, потихонечку да полегонечку все очистили, и варить бы не надо было.

– Эх, граф! Вы все с вашими шуточками! – сказал Чачков. – Вот кабы вы, добрейший Александр Иванович, заступили меня при господах лицеистах...

– С удовольствием, – отвечал Галич и, наскоро переодевшись, стал с Чириковым во главе препорученного ему отряда молодежи.

В продолжении всего пути в Павловск разговор лицеистов вращался исключительно около цели их прогулки. Кюхельбекер, который побывал уже в Розовом павильоне, должен был описать теперь внутренность павильона.

– Есть там клавесин, – рассказывал он, – есть небольшая библиотека. На столе разложены последние газеты и журналы, а на особом столике в углу – альбомы, куда каждый гость может вписать что ему угодно. Все там так просто, но и так мило, так вкусно... то есть я хотел сказать, во всем такой вкус...

– Что ты съел бы и клавесин, и альбомы? – подхватил насмешливо граф Броглио. – Нет, брат Кюхля, там есть, вероятно, еще и повкуснее вещи. Я слышал, по крайней мере, – продолжал он, облизывая свои пухлые красные губы, – что у Марии Федоровны весь штат придворный как сыр в масле катается. В каждом павильончике у нее, говорят, как в каждом сельском домике, можно требовать себе свежих сливок, масла, сыру. Не проходит почти дня, чтобы не устраивались у нее увеселительные прогулки на линейках: то на ферму, то в Славянку, и впрямь высылаются всегда целые фуры с отборной провизией. По воскресным же дням во дворце обязательно званый обед, на площадке перед дворцом музыка, гулянье; ну и, разумеется, масса всякого сброду, особенно мужичья, бабья; все они тут, как у себя дома, орут хором песни, бегают в горелки...

– Слушая вас, любезный граф, иной, пожалуй, заключил бы, что у государыни только и заботы, чтобы веселить народ и своих придворных, – серьезно заметил профессор Галич и рассказал в свою очередь в подробности, как именно распределен день у вдовствующей императрицы: как она, вставая аккуратно в 6 часов утра, садится сейчас за текущие дела, читает просьбы, письма и донесения от всех женских институтов, от воспитательного дома и других благотворительных заведений; как потом в обществе великой княжны Анны Павловны отправляется, смотря по погоде – пешком или в экипаже, гулять не гулять, а убедиться собственными глазами, все ли на своих местах и у дела; как, возвратясь домой, тут же перед дворцом принимает просителей и для каждого найдет слово утешения, одобрения; как после обеда, перед которым она снова занимается делом, у нее собирается избранный кружок и как тот или другой искусный чтец-литератор – Дмитриев или Нелединский-Мелецкий – прочитывает какого-нибудь классика, а в это время сама Мария Федоровна со своими камер-фрейлинами, слушая их, шиплет корпию для русских раненых.

В таких разговорах наша молодежь незаметно достигла Павловского парка. Здесь было уже не до связной беседы; чем ближе подходили они к Розовому павильону, тем чаще приходилось им обгонять группы горожан и крестьян, шумно и весело спешивших к той же цели. Возбуждение, в котором находились все эти празднично разряженные люди, действовало заразительно и на лицеистов. Все ускоряя шаг, они почти что бежали.

– Вот и триумфальные ворота! – крикнул один из передовых.

В конце песчаной дорожки, извивавшейся между деревьями, высились увитые зеленью ворота с какою-то замысловатой надписью из живых цветов.

– Кто первый прочтет? – предложил Пушкин и, перегнав товарищей, пустился со всех ног к воротам.

Некоторые бросились вслед за ним. Но он уже подбежал на 10 шагов к воротам и, обернувшись, крикнул:

– Тебя, грядущего к нам с боем,
Врата победы не вместят.

– Нельзя ли потише, молодой человек? – раздался около него внушительный старческий голос.

Теперь только Пушкин заметил невысокого, толстенького, исполненного чувства собственного достоинства старичка сановника, в треуголке с плюмажем, в раззолоченном сенаторском мундире, с двумя звездами на груди и с голубой лентой через плечо. То был, очевидно, один из главных распорядителей празднества. Около него в однообразных долгополых кафтанах сгруппировались певчие придворной капеллы. Приставленные к воротам двое полицейских старались, довольно, впрочем, безуспешно, оттеснить на окружающий луг напивавшуюся отовсюду пеструю толпу зевак.

– Это Нелединский... – шепнул Пушкину подоспевший в это время Галич и затем с легким поклоном обратился к самому сановнику-поэту:

– Не взыщите с них, молодо – зелено. Позвольте узнать, кому принадлежат эти два стиха на воротах?

Нелединский-Мелецкий, не поворачивая головы, чуть-чуть прищуренными глазами снисходительно покосился на вопрошающего.

– Новейшей поэтессе нашей, госпоже Буниной, – произнес он с оттенком пренебрежения, но неизвестно к кому именно: к поэтессе или к вопрошающему.

– А сами, ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволили сочинить кое-что для настоящего торжества? – почтительно спросил его тут, выступая вперед, Чириков.

– Кое-что – да, – более приветливо отвечал польщенный вопросом Нелединский, – кантату, что будет петься при сих самых вратах.

– И музыка вашей же композиции, осмелюсь спросить?

– Нет, Бортнянского. Каждый истинный слугитель Аполлона и Мельпомены потщился принести свою лепту на алтарь отчизны: текст – Державина, Батюшкова, князя Вяземского и вашего покорного слуги; музыка – Бортнянского, Кавоса, Антонолини.

– Едут! Едут! – раздались тут крики, и море людей кругом бурно заколыхалось. Лицеисты, как ни упирались, были смыты с места живой волной и отброшены на ближайшую полянку. Отсюда, из-за голов соседей, они вытягивали шеи, чтобы хоть что-нибудь да увидеть.

Сперва на линейках и в открытых колясках прибывали только разные придворные чины. Разноцветные плюмажи и ленты так и пестрели; золотые и серебряные воротники, эполеты и аксельбанты так и сверкали в косых лучах вечернего солнца.

Но вот из-за купы деревьев донеслось отдаленное «ура!» – и восторженный крик громогласно перекатился по всей многотысячной толпе и был подхвачен лицеистами: в сопровождении великих князей, окруженный блестящей свитой, показался сам император Александр Павлович. Раскланиваясь по сторонам, едва только он приблизился к первым триумфальным воротам, как, по знаку Нелединского, хор певчих грянул приветственную кантату.

Разнообразные фазисы празднества так непрерывно и быстро сменялись теперь один другим, что лицеисты, так сказать, почувствоваться не могли.

У самого Розового павильона стояли вторые ворота, увешанные лавровыми венками. Здесь были пропеты новые куплеты. По обе стороны павильона, на лужайках, были возведены кулисы из живой зелени, а на заднем фоне виднелись: справа – высоты Монмартра с ветряными мельницами, слева – барская усадьба и ряд крестьянских изб.

Из-за сплошной толпы народа и придворных, окружавших царскую фамилию, лицеисты не имели возможности последовательно наблюдать за ходом всего представления, за пением и танцами под открытым небом. Тем не менее, общее содержание пьесы от них не ускользнуло. Спектакль состоял из 4-х картин. В первой действующими лицами были дети, во второй – юноши и девушки, в третьей – жены воинов, а в четвертой – их родители. Все они в той или другой форме выражали свою радость по случаю возвращения близких их сердцу людей с

поля сражения, воссылали молитвы к Богу за благоденствие спасителя родины и всей Европы и осыпали путь его цветами. В заключение первый тенор петербургской оперы, знаменитый Самойлов, пропел кантату, нарочно по этому случаю сочиненную Державиным:

Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч сердец...

Своим чудным, бархатным голосом он пел с такою задушевностью, что и сам государь, и свита, и весь народ были видимо растроганы. Пушкин вынужден был даже достать из кармана платок и стал усиленно сморкаться.

– У тебя, Пушкин, насморк? – не утерпел, чтобы не поддразнить его стоявший рядом с ним Броглио.

Пушкин окинул его молниеносным взглядом.

– Ты, Броглио, иностранец, и нас, русских, понять не можешь! – с гордостью произнес он и повернулся к нему спиной.

Кстати упомянем здесь, что кантата Державина имела потом самый обширный успех, потому что долгое время еще пелась по всей России. Воспеваемый в ней «кроткий ангел», император Александр, был тогда у всех и каждого на душе и на устах: не было почти русского дома, где бы портрет или бюст государя не был увит цветами, где бы первая молитва, первый тост не посвящались ему.

Между тем понемногу смеркалось, и Розовый павильон, куда вошли государь и придворные, засветился огнями. Лицеисты, благодаря покровительству Нелединского-Мелецкого, успели протесниться сквозь толпу на вновь возведенную вокруг павильона галерею. Вечер был теплый, и окна в танцевальном зале раскрыты настежь, почему зрители могли прекрасно видеть весь огромный зал. По всему потолку его лучеобразно были развешаны гирлянды зелени и роз. Пять больших деревянных раззолоченных люстр были изящно увиты такими же гирляндами, а на самых люстрах, по всему карнизу и над дверьми горели бесчисленные огни. В углублении зала, за трельяжем с зеленью, был скрыт струнный оркестр. При появлении двора он заиграл полонез.

Государь об руку с императрицей-матерью открыл бал. Несколько раз проходили они мимо окна, у которого стоял Пушкин, так что он мог разглядеть вблизи не только знакомые уже ему черты их, но и наряд обоих: император был в красном кавалергардском мундире; императрица – в шелковом муаровом платье с буфчиками, с короткой талией и открытыми плечами; у левого плеча ее на черном банте был приколот белый мальтийский крест; на шее сверкало алмазное ожерелье; на голове был надет ток с белым страусовым пером; на руках до самых локтей – палевые лайковые перчатки; в одной руке она держала кружевной платок и лорнет, в другой – веер. Но стоило только Пушкину взглянуть ей в лицо, как он забывал уже об ее наряде: такое беспредельное счастье, такая материнская гордость сияли в этих близоруких, но выразительных глазах, в каждой черте этого немолодого, но необычайно симпатичного, благородного лица!

За полонезом раздались пленительные звуки вальса – и пары закружились по зале, изящно свиваясь и развиваясь такими же цветущими гирляндами, какие свесились на них сверху, с потолка и люстр. В воздушных бальных платьях, в золоте и самоцветных камнях, раздумываясь от волнения и танцев, чуть ли не каждая из танцующих молодых дам и девиц казалась красавицей. Но одна между всеми, одетая довольно скромно, особенно выделялась своей классической красотой, своей неподражаемой грацией.

– Это Марья Антоновна Нарышкина, – назвал ее один из зрителей, и имя сказочной красавицы мигом облетело всю галерею.

Вдруг около входных дверей послышался жалобный детский писк.

– Что тут случилось? – с заботливостью матери спросила императрица Мария Федоровна, направляясь к дверям. – Не придавили ли ребенка?

Через расступившуюся перед нею толпу она ввела в зал несколько детей и поставила их тут же в первом ряду, а когда в паузах между танцами ливрейные камер-лакеи стали разносить гостям фрукты и конфеты, государыня-хозяйка вспомнила о своих маленьких гостях и из собственных рук щедро оделила их разными сладостями; потом, взяв с углового столика хрустальную вазу с конфетами, обошла еще зрителей у окон.

– Без церемоний, мой милый! Берите хоть эту, – любезно сказала она по-французски Пушкину, когда очередь дошла до него. Обворожительно-ласковая улыбка государыни отразилась и на вспыхнувшем лице юноши. Он низко поклонился и поспешил взять указанную ему нарядную конфетку.

«Оставляю себе на память!» – обещал он сам себе. Императрица пошла далее. Тут позади Пушкина раздался плаксивый голосок:

– А мне-то, мама, ничего не досталось!

Держа за руку бедно одетую даму, стоял здесь пятилетний мальчуган и кулачком растирал себе глаза.

В светлом настроении своем Пушкин не мог видеть равнодушно этих детских слез.

– Не плачь, на! – сказал он мальчику и сунул ему свою драгоценную конфетку.

Когда на дворе совершенно стемнело, оглушительный, как бы пушечный выстрел заставил всех вздрогнуть. То был сигнальный бурак, предвестник фейерверка. Танцы в зале разом прекратились. Все сломя голову повалили из павильона на галерею, а оттуда рассыпались по широкому лугу позади павильона – из яркого света в полную тьму! Толкотня и давка, визг и смех!

Через минуту – новый громовой взрыв. К темному ночному небу с змеиным шипеньем стремительно взвивается огненный змей. Утратив понемногу первоначальную скорость, он описывает в вышине крутую дугу и – тррах! – гулко лопается, рассыпаясь над головами внизу стоящих пунцово-красными брызгами.

– А-а-а! – будто эхом проносится по всему лугу.

За первой ракетой следует вторая, за второй – третья. Не разлетелись еще, не потухли последние их искры, как раздается сухой, резкий треск, и непосредственно перед зрителями в то же мгновение вспыхивает громадное огненное колесо. С шумом водопада разбрасывая кругом дождь разноцветных огней, оно вращается около своей оси с изумительной быстротой. Но вот оно, истощив свой жар, почти так же быстро угасает. Однако оно достигло своей цели: дружные рукоплескания и возгласы выражают всеобщее одобрение.

Римские свечи и индийский дождь, жаворонки и швермеры сменяются огненными солнцами, мельницами и вензелем государя в «золотом храме». Но вот, видно, и конец: в разных местах луга одновременно загораются бенгальские огни, красные, лиловые и зеленые, от которых и окружающая зелень и павильон озаряются каким-то поистине волшебным светом.

– Как есть арабская сказка, – сказал профессор Галич, когда ему при помощи гувернера и дядьки удалось собрать разбредшееся по лугу лицейское стадо. – Вот бы вам, Пушкин, сочинить теперь нечто подходящее! От полноты души уста глаголят.

– А от пустоты желудка безмолвствуют, – отозвался Пушкин. – Одна конфеточка была, да и та сплыла!

Оказалось, что Пушкин был еще счастливее других: большинство товарищей его убралось спозаранку с галереи, чтобы не прозевать фейерверка, – и прозевало угощение.

– Ну, да ведь это же сказка, – заметил Пушкин, – так чего мудреного, что все по усам текло, ничего в рот не попало.

– Дома, впрочем, я сказал на всякий случай эконому, чтобы он оставил для вас, господа, какое-нибудь блюдо, – успокоил молодых людей Чириков.

– А у меня, ваша милость, коли понадобится, найдется не второе, так третье! – лукаво подмигивая, добавил обер-провиантмейстер Леонтий.

Такая перспектива настолько улыбнулась проголодавшимся лицеистам, что обратный путь в Царское они, несмотря на усталость, совершили не менее быстро, как и в Павловск.

Глава V

Дивертисмент

*Караул! Лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужко! пожди немножко,
Погоди... – А шмель в окошко...*

«Сказка о царе Салтане»

*Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.*

«Воевода»

Так мирно и чинно заключился бы этот богатый впечатлениями день, если бы неожиданно-негаданно в самом лицее не разыгрался небольшой дивертисмент, имевший довольно крупные последствия.

При приближении к лицу у Пушкина завязался спор с графом Броглио. Первый из них утверждал, что попасть в столовую можно одинаково скоро как с парадного крыльца, так и со двора. Второй отрицал эту возможность.

– Давай побьемся об заклад! – предложил он в заключение.

– На что? – спросил Пушкин.

– Да хоть на сегодняшний ужин.

– Идет!

– Я с тобой, Пушкин, – сказал неразлучный с ним во всех таких затеях друг его Пушин.

В то самое время, когда Броглио с начальниками и прочими товарищами входили с улицы в парадную дверь, открытую им швейцаром, два друга наши шмыгнули в калитку на двор лицейский.

– О чем ты думаешь, Пушкин? – спросил Пушин, когда приятель его вдруг остановился посреди двора и потянул носом воздух.

– Да ты разве не слышишь запаха малины?

– Да, в самом деле, будто пахнет; но откуда?

– А вон, из квартиры Чачкова. Видишь, окошко еще не закрыто. Нынче ведь они варили варенье. Ты, Пушин, охотник до малинового варенья?

– А как же.

– Так вот, подожди меня тут.

– Куда же ты? Ведь проиграешь Броглио ужин.

– Пускай ест себе на здоровье! Варенья уж верно не подадут.

Более рассудительный Пушин хотел было задержать ветреного друга; но тот был уже у заветного окна.

Квартира надзирателя помещалась в нижнем этаже, так что туда было легко заглянуть со двора; а недавно выплывший из-за парка серп молодого месяца освещал внутренность комнаты с открытым окном ровно настолько, что Пушкин одним взглядом убедился в отсутствии там живой души. Гимнастические игры на Розовом поле не пропали Для него даром. С ловкостью гимнаста он одним прыжком очутился на высоком подоконнике, а другим – уже в комнате.

Воздух там был пропитан ароматом малинового и еще какого-то другого варенья. На столе красовалась целая батарея заманчивых банок, и в одну из них, как нарочно, была опущена десертная ложка. Пушкин не устоял против искушения. Взяв ложку, он не спеша стал смаковать варенье то из одной, то из другой банки.

– Что ты там делаешь, Пушкин? – послышался из-за окошка нетерпеливый голос Пушина.

– Да выбор, братец, очень уж труден, – отвечал тот. – Ты какое варенье предпочитаешь: малиновое, вишневое или из черной смородины?

– Все равно, брат... Смотри, еще поймают тебя с поличным.

– Не таковский, не дамся! Нам, как ты думаешь, одной банки довольно будет?

– Ну да, конечно.

– Так на вот вишневое: вкус, знаешь, тоньше. Как, однако, прилипается! – прибавил он, обсасывая кончики пальцев.

В это время за спиной его распахнулась дверь, и в комнату проник легкий свет из коридора, что был рядом. В тот же миг раздался отчаянный женский вопль:

– Разбойники! Воры!

Одного брошенного назад взгляда было достаточно Пушкину, чтобы успокоиться насчет собственной безопасности. Стоявшая на пороге с засученными до локтей рукавами дородная барыня так четко выделялась темным силуэтом на светлом фоне освещенного коридора, что он тотчас признал в ней домовитую хозяйку, госпожу Чачкову. Самого же его, Пушкина, она, за полумраком в комнате, едва ли могла распознать, тем более что за короткое время пребывания своего с мужем в лицее она не успела узнать поименно всех лицеистов.

Не дав ей очнуться, Пушкин шагнул через подоконник – и был таков, а Пушин, с банкой варенья в руках, подымался уже в это время в камеру, чтобы спрятать добычу.

Минуты три спустя в столовую к лицеистам, недождавшимся еще своего ужина, влетел надзиратель Чачков. Он был, против обыкновения, мрачен и в крайнем возбуждении.

– Кого-то, господа, нет между вами, – сказал он, пересчитав глазами присутствующих.

Ответ дал ему своим появлением в дверях сам отсутствовавший.

– А! Господин Пушин! Признаться, не ожидал я от вас такого... такой... как бы деликатнее выразиться...

– Позвольте спросить, Василий Васильич, – учтиво и несколько небрежно вмешался тут Пушкин, выходя из-за стола, – дело в банке с вареньем?

– А вы что про нее знаете?

– Да, во всяком случае, более Пушина, потому что сам был за нею у вас на квартире.

– Вот что! Да, от вас этого можно ожидать. Но я считал вас всегда вежливым молодым человеком, вы же не только взяли без спросу у супруги моей банку сваренного ею варенья, но даже не дали себе труда поклониться ей! Это мне, признаться, крайне прискорбно!.. Благородная дама...

– Да ведь поклонись я, супруга ваша могла бы еще пуще обидеться: «Благодарю, дескать, сударыня, за угощенье!»

– А вот подите, потолкуйте с нею! – упавшим голосом прошептал бедный супруг. – Как бы то ни было, голубчик, положи руку на сердце скажите: провинились вы нынче или нет?

– Положи руку на сердце – провинился.

Чачков заметно просветлел.

– Вот это я называю по-рыцарски: честно и прямо! – воскликнул он. – Ну, и за провинность свою заслужили вы какую ни на есть кару?

– Полагаю.

– Великолепно-с! Так вот-с, дорогой мой, извольте же сами продиктовать нам: чего вы заслужили, чтобы, понимаете, ни единое существо в поднебесной не могло утверждать, будто я даю вам, лицеистам, поблажку?

Пушкин прекрасно понял, кого Чачков разумел под «единым существом в поднебесной»; понял, что добровольно принятое им на себя наказание сослужит добряку надзирателю великую службу.

– Да пошлите меня до утра в карцер – и дело с концом, – сказал он.

Слегка озабоченные еще черты Чачкова окончательно прояснились. Он схватил обеими руками руки Пушкина и крепко потряс их.

– Вы – славный молодой человек! Я лично провожу вас. Эй, Прокофьев! Посвети-ка нам. А вот кстати и мой любезный коллега, – прибавил он, столкнувшись на пороге с экономом лицейским (иначе: надзирателем по хозяйственной части) Золотаревым, за которым два служителя несли ужин лицеистам. – Сделайте одолжение, Матвей Александрия, доставьте вот этому молодому человеку в карцер его порцию.

– Не трудитесь, Матвей Александрыч, – предупредил тут Пушкин, – отдайте мою порцию Броглио.

– Проиграли ему, знать, пари? – спросил Пушкина на ходу Чачков, ласково трепля его по плечу.

– Проиграл. Да варенье ваше меня отчасти вознаградило.

– Шалун! Ну что, небось мастерица варить супруга у меня, а?

– Мастерица – да; только посоветуйте ей вишни варить на сахаре; для такого нежного плода патока, уверяю вас, не годится.

На этом разговор их прервался: догонявшие их быстрые шаги и гулкий голос Золотарева: «Василий Васильич! А, Василий Васильич!» заставили обоих оглянуться.

Как корабль с распушенными парусами, летел к ним эконоом с развевающимися фалдами длиннополого вицмундира. Выхолненное лунообразное лицо его приняло тот же лиловато-багровый цвет, которым, обыкновенно, отличался только мясистый нос его; воловьи, на выкате, глаза налились кровью и готовы были, кажется, выскочить из орбит; даже лучшее украшение его видного лица – густейшие, в виде котлет, бакенбарды, всегда так тщательно расчесанные, были в непривычном беспорядке: в одном из них запутались мелкие кусочки чего-то съестного.

– Помилуйте, Василий Васильич! – пыхтел эконоом, задыхаясь от волнения и дико вращая кругом кровавыми глазами. – Это какой-то бунт... Всех бы их в кутузку!..

– В чем дело-с, дражайший коллега? – спросил с участием Чачков. – Виноват: у вас в бороде что-то засело. Если не ошибаюсь – начинка пирога?

– Чтоб им ни на этом, ни на том свете... – фыркал Золотарев, отряхаясь, как мокрый пудель. – Воротились, вишь, ночью, как добрые люди сладким сном почивают... Ничего бы им не подать... Нашла на меня еще дурь – подать им вчерашнего пирога с печенкой. А барчуки наши, вишь, брезгают, говорят: печенка протухла...

– Да, может, она и точно была не первой уж свежести? – деликатно заметил надзиратель. – Ведь время-то нынче жаркое: живо придаст ароматец.

– Как же без аромату? Сами посудите! Да мало ли на свете таких еще любителей, которым и рябчик не в рябчик, коли без изрядного душка!

– Однако печенка-то ваша была не от рябчиков?

– Чего захотели! Не по вкусу – ну и не кушай: прислуга либо собаки на дворе слопают. А то нешто это резон в рожу тебе швырять?

Чачков с трудом сохранил серьезный вид; Пушкин закусил губу, чтобы не прыснуть со смеху.

– К вам, Василий Васильич, как к первому нашему начальнику ныне, обращаюсь с убедительной просьбой, – ожесточенно продолжал Золотарев. – Немедля составьте протокол о случившемся и отрапортуйте его сиятельству господину министру...

– Все потихонечку-полегонечку, почтеннейший мой, – старался уговорить его надзиратель. – Стоит ли беспокоить графа из-за такого пустяка?

– Из-за пустяка! Нет-с, милостивый государь, пирог сам по себе, может, и пустяк, но коли он обращен в смертоносное орудие...

Пушкин не мог уже удержаться от давившего его хохота.

– Вот-вот, изволите видеть! – еще пуще закипятился эконо. – Господин Пушкин тоже зубоскалит! Нет, я вас всеижайше умоляю, сударь мой, формально отписать все как есть...

Чачков взял расхोлившегося «коллегу» за округлую его талию.

– Написать не трудно-с, – мягко заговорил он, – но, донося одно, мы не вправе умолчать и о другом: что при предшественнике вашем, Леонтии Карловиче Эйлере, внуке знаменитого нашего астронома, воспитанники не могли нахвалиться продовольствием; в короткое же время вашего управления хозяйством – это второй уже случай...

– Да уж это по вашей канцелярской части расписать дело так, чтобы ни сучка, ни задоринки, – возразил тоном ниже Золотарев. – Мне главное: чтобы нам дали наконец заправского главу, который забрал бы этих сорванцов в ежовые рукавицы. А первых зачинщиков, графа Броглио да Пущина, я просил бы вас ныне же заключить под замок.

– Бросьте уж их! – сказал Чачков. – У обоих большие, знаете, связи... Пушкин вот кстати отсидит за всех. Отсидите, голубчик?

– С удовольствием! – был ответ.

– Слышите: «с удовольствием». Примерный друг и товарищ! На, а в рапорте нашем его сиятельству Алексею Кирилловичу мы только глухо отпишем, что так, мол, и так: без постоянного директора с молодежью нашей просто сладу нет.

Таким образом, ни Броглио, ни Пущин на этот раз не разделили одиночного заключения Пушкина. Но заключение это пошло ему впрок. Когда на следующее утро надзиратель Чачков с дежурным профессором Галичем сидели в правлении за сочинением рапорта министру, сторож Прокофьев вбежал к ним с докладом, что «в карцере неладно». Те были перетревожились, но успокоились, когда выяснилось, что заключенный там поэт от нечего делать измарал целую стену карандашом.

– Что тут поделаешь с ними! – воскликнул Чачков. – Вы, Александр Иванович, всегда горой стоите за господ лицеистов. Я сам стараюсь с ними ладить; но что прикажете делать, если они и в карцере не унимаются: портят казенное добро?

– Да, верно, ему не на чем было писать, – сообщил Галич.

– Они, действительно, просили у меня вчером принести им чернила да бумаги, – доложил Прокофьев.

– А ты небось отказался исполнить его просьбу?

– Не посмел, ваше высокоблагородие...

– Ну, так... А поэту, Василий Васильич, без письменных материалов все равно, что нашему брату без воздуха, – житья нет.

– Говорят-с... Однако писанье писанью тоже рознь. Как ни люблю я Пушкина, но готов голову прозакладывать, что намарал он опять какой-нибудь пасквиль.

– Это мы сейчас, если угодно, узнаем, да кстати уясним и казенный ущерб.

Так Пушкин совершенно неожиданно удостоился в карцере визита двух начальников.

– Образцовая стенная живопись! – с безобидной иронией заговорил Чачков, любясь стеной, испещренной каракулями, во многих местах зачеркнутыми и перечеркнутыми.

– Да, в своем роде иероглифы, – подтвердил Галич и принялся по складам разбирать написанное:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар, и млад, летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжжены.
Вострепещи, тиран!
Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря.
Их цель: иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за Царя.

Молодой профессор окинул надзирателя торжествующим взглядом; потом каким-то особенно добрым, почти нежным тоном спросил Пушкина, переминавшегося тут же с карандашом в руке:

- Это вас, мой друг, вчерашний праздник вдохновил?
- Да, – отвечал Пушкин со смущенной улыбкой.
- Посмотрим, что дальше, – сказал Галич и продолжал разбирать вслух:

В Париже росс! Где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой!
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья
Грядет с оливой золотой;
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле, —
А он несет врагу не гибель, а спасенье
И благотворный мир земле.
Достойный внук Екатерины!..
На этом стихи обрывались.

– Ну, что вы теперь скажете, Василий Васильич? – спросил Галич. – На что это более похоже: на жалкий пасквиль или на торжественную оду?

Василий Васильевич преклонил голову и развел руками.

– Честь и слава молодому таланту, – согласился он. – В этих строфах веет, можно сказать, что-то державинское...

– И пушкинское! – с ударением добавил Галич; потом, оборотясь к молодому поэту, дружески положил ему руку на плечо и сказал: – Продолжайте так же – и новая ода ваша, вы увидите, станет краеугольным камнем вашей будущей известности. А чтобы вам не пачкать еще казенных стен, Василий Васильич, конечно, уж не откажет вам в чернилах и бумаге. Или вы, Василий Васильич, может быть, теперь же выпустите узника?

– Скатертью дорога! – с отменного учтивостью указал надзиратель Пушкину на выход. – Не знаю вот только, Александр Иванович, как быть мне с этой измаранной стеной? – прибавил он вполголоса.

– Взять да выбелить.

– Легко сказать-с! Надо будет испросить у его сиятельства Алексея Кирилловича сверхсметный кредит...

– А без этого нельзя?

– Невозможно-с: экстренный расход.

Галич нетерпеливо повел плечом.

– Так выбелите хоть на мой счет!

– Нет, уж я сам заплачу, Василий Васильич, – вмешался стоявший в дверях Пушкин.

– Ах, вы еще здесь, дорогой мой? Вы сами заплатите? И пречудесно-с: из-за грошового дела не стоило бы поднимать столб пыли.

Однако пыль, и самая вредоносная, была уже поднята пирогами эконома Золотарева. Лицеистам существенного вреда она не причинила, зато самому Золотареву да «коллеге» его, Чачкову, от нее, увы! не поздоровилось. Некоторое время до графа Разумовского уже стали доходить из Царского слухи о распущенности лицейского быта и упадке лицейского хозяйства вследствие непрерывных пререканий конференции профессоров. Пироги золотаревские дали ближайший повод к ревизии лицейских порядков, а результатом этой ревизии было увольнение от службы обоих надзирателей: по учебной и по хозяйственной части. 13 сентября 1814 года обязанности директора лицея, впредь до выбора постоянного директора, были поручены директору лицейского благородного пансиона, профессору немецкого языка Гауеншильду. Надзирателем по учебной части, по предложению военного министра Аракчеева, был определен старый служака и рубака, отставной подполковник Фролов. Но так как последний, пробыв целый век в строю, мог с успехом глядеть только за наружной дисциплиной, то в помощь ему, для наблюдения за «нравственным» воспитанием будущих «государственных людей», был дан профессор «нравственных наук» Куницын. Наконец, надзирателем по хозяйственной части, или, проще, экономом, был назначен константинопольский уроженец, старичок Камараш.

Этим не ограничились последствия памятного всем лицеистам дня 27 июля. Две строфы, сочиненные Пушкиным в карцере, разрослись вскоре в целую оду: «Воспоминания в Царском Селе», и оде этой, как верно предугадал профессор Галич, суждено было сделаться краеугольным камнем литературной известности начинающего поэта.

Глава VI

Два дня у Державина. Первый день

*Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной:
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.*

Поэма «Цыганы»

В то самое время, когда в Царскосельском лицее дописывались стихи, которые должны были положить основание славе Пушкина, – в Новгородской губернии, в селе своем Званке, мирно «дотаскивал остальные деньки» (по собственному его выражению) патриарх русских поэтов Державин, не слыхавший даже о существовании начинающего поэта и, конечно, не подозревавший, что сам же он вскоре признает его своим достойным преемником.

В начале августа Державин со своими многочисленными домочадцами едва уселся за обеденный стол, как с улицы донесся «малиновый» звон валдайских колокольчиков. Молодежь бросилась из-за стола к окнам. К колокольчикам явственно присоединился теперь стук колес и лошадиных копыт. Из-под скатерти стола юркнула хорошенькая, мохнатая, белой шерсти собачонка и с пронзительным лаем закружилась по комнате.

– Кого Бог несет? – повертывая голову, спросил хозяин.

– Иван Афанасьич! Дмитревский! – отвечал ему хор голосов, и глухой грохот перекладной под самыми окнами разом замолк: тележка остановилась у крыльца.

– Иван Афанасьич! – радостно повторил Державин и, положив на стол салфетку, с неприличной для его 73 лет живостью приподнялся со стула. – Ждал-ждал и ждать перестал... Паша, голубушка! Где ты?

Любимая племянница его, Прасковья Николаевна Львова, чрезвычайно миловидная брюнетка, поспешила подать ему руку.

– Ужели, Гаврила Романыч, ты в этом костюме и примешь столичного гостя? – спросила мужа хозяйка, Дарья Алексеевна (вторая жена Державина), представительная, высокая и стройная дама.

– А чем же костюм не столичный? – добродушно усмехнулся Гаврила Романович, оглядывая себя. – И в столице по твоим званным четвергам неохотно расстаюсь с ним.

Костюм же состоял из зеленого шелкового халата, подпоясанного таким же шнурком с кистями, из вязаного белого колпака и вышитых бисером туфель. Постороннему человеку ни за что и в голову бы не пришло, что перед ним бывший статс-секретарь Великой Екатерины, затем сенатор, государственный казначей и, наконец, министр юстиции. Правда, он уже давно удалился от государственных дел и в редкие минуты вдохновения предавался главной задаче своей жизни – стихотворству.

Но и поэта было трудно признать в этом гладко выбритом, благодушно улыбающемся старике, которого – не будь он так высок и широкоплеч – в его бабьем колпаке скорее можно было бы принять за почтенную старушку.

– Замолчишь ли ты?! – прикрикнула и топнула ногой Дарья Алексеевна на собачку, которая, как в истерическом припадке, вертелась около своего хвоста и заливалась самым высоким, раздражающим уши фальцетом.

– Оставь ее, милая! Надо же и ей душу отвести! – вступился муж и под руку с племянницей вышел в переднюю, а оттуда на крыльцо. Свитой за ними высыпали туда все прочие, сидевшие за столом.

Иван Афанасьевич Дмитревский, знаменитый в свое время актер Императорского театра в Петербурге, уже несколько лет перед тем, по старческой дряхлости, покинул сцену. Тем не менее как актеры, так и литераторы, и даже столичная знать, продолжали по-прежнему дорожить его сценической опытностью и во всех спорных случаях по театральной части обращались к его суду. Державину, которому на старости лет вздумалось также испытать свои силы в драме, такой советчик, как Дмитревский, был сущим кладом, и он не раз зазывал его на лето к себе в Званку. Но только теперь Дмитревский наконец приехал.

Когда Державин выбрался на крыльцо, дорогой гость его сошел уже с тележки и, поддерживаемый краснощеким быстроглазым казачком, с усилием стал подниматься по ступеням. Один из племянников хозяина, подпрапорщик Измайловского полка Семен Васильевич Капнист, живой и ловкий юноша, одним прыжком соскочил вниз и подхватил старика под другую руку.

– Спасибо, душа моя... – прошамкал слабым голосом Дмитревский, суюкая от недостатка зубов и произнося букву «ш» как «с»: «дуса моя».

– Молодец он у меня! – похвалил юношу с крыльца дядя. – С тех пор, как секретарь мой Лиза¹⁰ замуж пошла, он у меня и по письменной, и по всякой иной части. Здорово, Иван Афанасьич! Наконец-то вспомнили старого приятеля!

Приятель очутился в его дружеских объятиях. Толпившиеся около них молодые люди тихо перешептывались:

– Стар, ух как стар стал! Прямой Мафусаил! Дядя перед ним молодец молодцом...

Гость Мафусаил, щурясь от света, которого не переносило его ослабевшее зрение, со сгорбленной спиной, с трясущейся головой, стал здороваться со всеми окружающими, поочередно подходившими к нему.

– Дарье Алексеевне мое нижайшее! И вы тут, любезнейший! И вы! – говорил он, пожимая руки направо и налево¹¹.

Между тем задорная собачонка, выскочившая также на крыльцо, не переставала ожесточенно тявкать на гостя.

– И ты тут, Таечка! Да, и ты! А я слона-то, вишь, и не заметил! – приветствовал ее Дмитревский и, с трудом нагнувшись к Тайке (сокращение от Горностайка), хотел ее погладить. Но та, огрызаясь, увернулась и цапнула его за панталоны. Молодой Капнист оттолкнул ее ногою.

– Вот злючка! Не узнала разве?

– Дай-ка ее сюда, Сеня! Не обижай ее! – сказал дядя и, приняв от него собачку, упрятал ее за пазуху. Место это, как видно, было для нее насиженное, потому что она, высунув свою хорошенькую мохнатую головку из-за отворота халата, вполголоса еще немножко поворчала, похлопала глазками на гостя и затем уткнулась опять розовой мордочкой в халат¹².

¹⁰ Старшая сестра вышеназванной Прасковьи Николаевны Львовой, Елисавета Николаевна, вышедшая незадолго перед тем замуж за родственника своего, Федора Петровича Львова.

¹¹ Кроме названных уже трех лиц – жены Державина и двух его любимцев, племянницы и племянника, в доме его жили или безвыездно, или по неделям Вера Петровна Лазарева (дочь прославившегося впоследствии адмирала), Александра Николаевна Дьякова (урожд. Львова, вторая сестра Прасковьи Николаевны), Любовь Аникитична Ярцова, братья Львовы и Дьяковы, молодые Миллер и Фок.

¹² Тайка пережила своего барина, который еще при жизни ее сочинил ей такую эпитафию: На могилу милой собачки Здесь песик беленький лежит, Который Горностайком звался. Он был тем мил и знаменит, Что за хозяина вступался И угождал не низкою какой, А твердой львиною душой; Ворчал, визжал, но так забавно, Что и сердясь пел сопрано.

– Ну, что у вас там, Иван Лфанасьич, в Питере? Что нового?.. – полюбопытствовал хозяин, но тут же спохватился: – Виноват: соловья баснями не кормят! Пойдемте-ка откушаем вместе, благо, мы сами еще за трапезой. А вы, чай, с дороги как волк проголодались?

– Да Ивану Афанасьичу, может, нужно еще наперед почиститься, отмыться от пыли? – заметила Дарья Алексеевна.

– Оно, точно, сударыня, не мешало бы... – отозвался Иван Афанасьич.

– Я вас сейчас проведу к себе, – услужливо вызвался молодой Капнист и, мигнув казачку, чтобы тот взял барина своего под другую руку, бережно повел почтенного старца к себе.

Полчаса спустя Дмитревский, умытый, приглаженный, с подвязанной под подбородком салфеткой, сидел среди многочисленной хозяйской семьи за сытным деревенским обедом. В промежутках он рассказывал о недавнем Павловском празднике и о том глубоком впечатлении, какое произвела на всех сочиненная на этот случай Державиным кантата: «Ты возвратился, благодатный...»

– У меня не то еще было в предмете, – заговорил Державин. – Хотелось мне сочинить подобающее похвальное слово государю-победителю, и вот племянница целое лето, вишь, должна была читать мне тут похвальные слова разным великим мужам, дабы, знаете, настроить на надлежащий тон мою ржавую лиру. Похвала Марку Аврелию всего более пришлось мне по душе, потому что действие в оной перемешано с повествованием. Однако ж старость не радость: слушаешь, бывало, развесишь уши – глядь, и задремал! Так и не удосужился написать свою похвалу.

– Упустя лето, в лес по малину не ходят, – заметил Дмитревский, – а мы с вами, ваше высокопревосходительство, что ни говори, маленько-таки состарились.

– Так-то так, – со вздохом согласился Державин. – Затем-то в последние годы и взялся за драму. Вот где мое истинное призвание! Четыре трагедии мои вам достаточно известны¹³; равномерно и две музыкальные драмы¹⁴. Но все это были цветочки, теперь пойдут ягодки. Одна у меня уже в деле; вот это так опера: «Иоанн Грозный, или Покорение Казани». Богатейшая, сударь, тема и наисовременная; господа французы, что пожаловали к нам в 12-м году без спросу и убралась не солоно хлебавши, не те же ли кровожадные татарские орды времен Грозного? Бонапартишко их – не злой ли волшебник, мнивший обойти нас обманными чарами?

Заговорив о своей новой опере, старик поэт заметно одушевился. Дмитревский, не переставая жевать, исподлбья оглядел окружающих: те украдкой обменивались сострадательными взглядами и тихо шушукали между собой. Не могло быть сомнения – они, подобно ему, относились к новейшему драматическому опыту старого лирика с некоторым недоверием; они хорошо знали также, что эти опыты, со слов Мерзлякова, назывались во всем петербургском обществе «развалинами Державина».

– Опера, м-да... – промычал Дмитревский. – Ну, текст, положим, будет; но где же, скажите, найти для него у нас, на Руси, музыканта-композитора? Опера – чисто итальянское произрастение...

– И вздор-с! – перебил Державин. – Итальянцы просто-напросто пересадили ее к себе из Греции, ибо древняя греческая трагедия с певучими речитативами – не что иное, сударь мой, как теперешняя опера с разнотонной музыкой в первобытном ее виде-с. Но в итальянщине сей – дивная смесь великого с малым, прекрасного с нелепым. По своей необузданной южной натуре всякий соучастник итальянской оперы лезет из кожи, чтобы отличиться: автор – исполинским воображением, актер – смешною надутостью и уродливым кривляньем, певец – чрезмерной вытяжкой голоса, музыкант – непонятными прыжками перстов, дабы при громком

¹³ «Ирод и Мариамна» (единственная представленная на сцене), «Евпраксия», «Темный» и «Аталибо, или Разрушение Перуанской империи».

¹⁴ «Добрыня» и «Пожарский».

рукоплескании заставить выпучить глаза и протянуть уши того же вкуса людей, каковы они сами. Они уподобляются тем канатным прыгунам, которые руки свои принуждают ходить, а ноги – вкладывать в ножны шпагу, думая, что это чрезвычайно хорошо! От таковых-то усилий и несообразностей с прямым вкусом в их операх вся нелепица. Вместо приятного зрелища – игрище, вместо восхитительной гармонии – козлоглашение.

– Так как же вы сами, ваше высокопревосходительство, решаетесь ставить оперы? – спросил Дмитриевский.

– Как-с? – подхватил с возрастающим огнем Державин. – Да что такое, позвольте узнать, опера? Это есть перечень, сокращение всего зримого мира. Скажу более: это есть живое царство поэзии, образчик или тень той небесной улады, которая ни оку не видится, ни уху не слышится... Ради своей чудесности опера почерпает свое содержание из языческой мифологии, из древней и средней истории. Лица ее – боги, герои, рыцари, богатыри, феи, волшебники и волшебницы. В ней снисходят на землю небеса, летают гении, являются привидения, чудовища, ходят деревья, поют человеческим голосом птицы, раздаются эхо. Словом, это – мир, в коем взор объемлется блеском, слух гармонией, ум непонятностью, и всю сию чудесность видишь искусством сотворенною, притом в кратком, как бы сгущенном виде. Тут только познаешь все величие и владычество человека над вселенной! Подлинно, после великолепной оперы находишься в некоем сладостном упоении, как бы после волшебного сна... Это – первый шаг к блаженству...¹⁵.

Никто уже не улыбался. Никто не отрывал глаз от расхвалившегося маститого поэта, который своею по старинному напыщенной, но образною и искреннею речью возбудил во всех невольное желание испытать самим описываемое им «блаженство». Один Дмитриевский только, чтобы не отстать в еде от других, продолжал двигать челюстями: при отсутствии зубов разжевывание пищи представляло для него немаловажный труд. Теперь, благополучно покончив с этим делом, он обтер губы салфеткой и обратился к хозяину:

– А позвольте спросить, Гаврила Романыч: где же вы видели у нас такие оперы?

– Где-с? Да... Аблесимова «Мельник» – раз; ну... – Гаврила Романович запнулся.

– Раз – и обочлись?

– Да ведь я говорю не о тех операх, что есть...

– А о тех, что будут?

– Ну да... Вот погодите, любезнейший, дайте мне только справиться с моим «Грозным»... – Эй, Михалыч!

Михалыч, или, точнее, Евстафий Михайлович Абрамов, из крепостных Гаврилы Романовича, был у него не то мажордомом, не то вторым секретарем и допускался также к барскому столу. За безграничную преданность и примерную расторопность Державин очень ценил его. Единственной крупной слабостью Михалыча были крепкие напитки, и потому Дарья Алексеевна очень неохотно сажала его за один стол с гостями; но муж всегда отстаивал его:

– Ничего, душечка! Делай, будто ничего не замечаешь.

Сегодня Абрамов успел уже не в меру воспользоваться обилием на столе разных наливок и настоек по случаю именитого гостя. Когда он приподнялся, чтобы идти на зов хозяина, то покачнулся и должен был ухватиться руками за край стола. Дарья Алексеевна это было крайне неприятно. Она даже покраснела и замахала рукой:

– Сиди уж, сиди...

– Да я, друг мой, хотел послать его только в кабинет за рукописью... – почел нужным объяснить Гаврилу Романович.

– А он, ты думаешь, так и отыскал бы? – возразила супруга. – Садись же – не слышишь? – строго повторила она Михалычу.

¹⁵ Подлинные слова Державина.

Тот покорно, с виноватым видом, опустил на свое место.

– А помните ли, дяденька, как вы сочинили для меня и сестер, когда мы еще были маленькими, что-то вроде оперы – шутку с хорами: «Кутерьма от Кондратьев»? – весело заговорила красавица племянница, Прасковья Николаевна. – У нас в доме, Иван Афанасьич, надо вам знать, было в то время ровно три Кондратья, – продолжала она, обращаясь к гостю, – один – лакей, другой – садовник, третий – музыкант. Оттого часто происходила преуморительная путаница...

– Как не знать, милая барышня, – отвечал Дмитревский, вдруг оживляясь. – Сам даже на домашней сцене орудовал в этой пьесе; о сю пору, кажись, в лицах представить мог бы...

– Правда?

– Ах, Иван Афанасьич, представьте! – раздался кругом голоса.

Доедали как раз последнее блюдо. Голод всех, в том числе и старца актера, был утолен, а рюмка-другая крепкой домашней наливки помолодила его на двадцать лет.

– Отвяжи-ка салфетку! – приказал он казачку, стоявшему позади его стула, и когда тот исполнил приказание, он отодвинулся от стола вместе со стулом, встал, выпрямился во весь рост и заговорил.

Все с изумлением, можно сказать, с оцепенением уставились на него. Ветеран Императорского театра много лет уже не выходил перед публикой; только однажды, 4 года тому назад, 30 августа 1812 года, в достопамятный день, когда получено было в Петербурге известие о славном Бородинском бое, он выступил в патриотической пьесе Висковатова «Ополчение». И вдруг сегодня, как тень умершего из могилы, перед присутствующими восстал опять прежний великий актер.

– Хорошо, слушайте, – заговорил он женским голосом Миловидовой в державинской шутке. – Ты, Варенька, скажи первому Кондратью, камердинеру, который, за отсутствием управителя, надзирает за кухнею, чтобы приготовил между прочим кур с шампиньонами: дяденька это блюдо очень любит. Ты, Веринька, второму Кондратью, садовнику, вели припасти вяз с повелицей. Дубу и лавру здесь нет; неравно нам вздумается отставному служивому поднести, по древним обычаям, свойственный ему венок. А ты, Пашенька, скажи третьему Кондратью, музыканту, чтоб он приготовил для огромности хоров рог с барабаном. Смотрите же, не забудьте, а я пойду одеваться.

При этих словах Дмитревский повернулся, будто уходит, обдернул себе с жеманством сюртук, будто поправляет женское платье, и тем же голосом продолжал, будто обращаясь к трем Кондратьям:

– Приготовили ль, друзья мои, что вам приказывали дети?

– Все готово, сударыня, все готово... – отвечал он сам себе разными голосами трех Кондратьев.

– Где ж?

– Вот здесь, – отвечал он от лица первого Кондратья, камердинера, подавая со стола салфетку.

– Да что это?

– Тур¹⁶ с панталонами.

– Как? Тебе приказывали кур с шампиньонами!

– Мне так слышалось.

– Какой вздор! – Дмитревский-Миловидова обернулся к воображаемому Кондратью-садовнику. – У тебя что?

(В руках его очутился салатник.)

– Мох с тюльпаном.

¹⁶ Тур – парик.

– Какая чепуха! Тебе приказан рог с барабаном.

– Я не музыкант.

– У тебя что? – был, наконец, последний вопрос его к невидимке Кондратью-музыканту. – Вяз с повелицей?

– Нет! Бас со скрипичей, – был ответ – и бутылка с рюмкой изобразили требуемые музыкальные инструменты.

– Ха-ха-ха-ха! Сумасшедшие! Вот каково там, где много Кондратьев! Смех от них и горе! Тому прикажи, того спроси – и увидишь хоть Кондратья, да не Кондратья! Федот, да не тот...

Войдя совершенно в роль, бывалый актер даже не пришепetyвал; и голос и мимика его принадлежали именно тем лицам, которых он изображал. Когда он кончил, комната огласилась единодушными восторженными криками, а Державин, сидевший еще за столом, снял с головы колпак и отдал другу-актеру такой глубокий поклон, что коснулся лбом стола.

Но вслед за тем поднялась общая суматоха. За необычным оживлением у дряхлого старца актера последовал внезапный же упадок сил. Как мертвец побледнев, он закатил глаза, схватился за грудь и наверное грохнулся бы на пол, если бы подоспевшие молодые люди не подхватили его под мышки, не усадили в кресло. Всех более, казалось, перепугалась виновница всего, Прасковья Николаевна. Она суежилась около гостя, как около родного, и, налив ему стакан воды, почти насильно заставляла его пить.

– Спасибо вам, дуса моя... – лепетал он, отпивая глоток за глотком. – Разгорячили вы меня, старого, и, боюсь, пролежу я теперь сутки в постели...

Сначала хозяева думали уложить его сейчас же в постель. Но, когда он немного оправился, решено было перебраться в соседнюю гостиную.

– Туда нам и кофе подадут, – сказала хозяйка, – там вы отдохнете в кресле.

– Да и я кстати маленько вздремну с вами, – добавил хозяин, – такое уж у меня положение:

Тут кофе два глотка, всхрапну минут пяток,
Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами,
Пернатый к потолку лаптой мечу леток
И тешусь разными играми.

Гость слабо улынулся:

– Ой ли?

– То есть, было времечко... Ну, а нынче, понятно, только бостон да пасьянс. На закате дней в чем нашему брату упражняться, как не в терпении – в пасьянс?

Дмитревский помнил впоследствии, как бы в каком-то тумане, что его перенесли в кресле в гостиную и что он там, не дождавшись даже кофе, крепко заснул. Во сне долетали до его слуха звуки клавесина, и, когда он наконец очнулся, звуки эти не прекратились. На дворе совершенно уже смерклось; а гостиная, где отдыхал он по-прежнему в кресле, освещалась мягким полусветом покрытой абажуром лампы. В отдалении за клавесином сидела Прасковья Николаевна и играла одну из задушевных пьес Баха, любимого композитора хозяина. Сам же хозяин, с своей Тайкой за пазухой, в мягких туфлях, неслышно расхаживал по комнате из угла в угол, опустив голову, отвесив губу, и одной рукой поглаживал Тайку, а другой бил по воздуху такт.

Не желая прерывать его размышлений, Иван Афанасьевич тихомолком окинул взором остальных присутствующих. За столом, на котором горела лампа, сидела хозяйка, вязавшая какой-то шарф, вероятно для мужа, а около нее – другая племянница, вышивавшая бисером кушак, как оказалось после, также для дяди. На столе были разложены в известном порядке карты: Гаврила Романович, очевидно, раскладывал пасьянс, когда искусная игра Прасковьи Николаевны согнала его с места. Прочие домочадцы расположились небольшими группами там и сям в тени, слушая также музыку и изредка перешептываясь.

Дмитревский по-прежнему не шевелился и предался тихим старческим мечтам. Но вот нежные звуки клавесина стали крепнуть, расти, учащаться, – и Гаврила Романович сбился с такта и ускорил шаг; колпак его сдвинулся набекрень, губы крепко сжались, тусклые глаза разгорелись; дойдя опять до выходной двери, он не повернул уже назад, а вдруг исчез.

Музыка разом смолкла; музыкантша, а за нею и все молодые слушатели встрепонулись, заговорили:

– Ну, завтра к утрешнему кофею дяденька, наверно, принесет новые стихи!

Они не совсем ошиблись: «дяденька» действительно занялся стихами, хотя не новыми, а старыми, требовавшими отделки. Когда все сошлись опять к ужину в столовую, он также явился туда с довольной улыбкой, держа в руках объемистую тетрадь.

– Екатеринина Муза заговорила? – спросил его Дмитревский.

– Нет, ко мне теперь она уж редко заглядывает, – отвечал старик поэт:

Холбдна старость – дух, у лиры – глас отъемлет,
Екатерины Муза дремлет...

Положив тетрадь на стол около своего прибора, он то и дело с нежностью поглядывал на нее; когда же, с боем 11-ти часов, все разом поднялись и стали прощаться на ночь, он вручил тетрадь гостю со словами:

– Прочтите, любезнейший, и занотуйте, что нужно...

Дело это для Дмитревского было не ново. Продремав давеча часа два в своем кресле в гостиной, он так освежился, что не нуждался уже в ночном отдыхе. Лежа в постели, он принялся со скучающим видом перелистывать державинского «Грозного», причем где писал карандашом на полях, где просто ставил вопросительный или восклицательный знак, пока не дошел до последней страницы. Тут он от души зевнул и загасил свечу.

Глава VII

Два дня у Державина. Второй день

*Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил...*

Пролог к «Руслану и Людмиле»

Старость не знает долгого сна. Не было еще шести часов утра, как Дмитревский уже проснулся. Или, быть может, его разбудил смутный говор, долетавший к нему сквозь тонкую стенку из смежной горницы. Он прислушался и явственно различил голоса хозяина и его мажордома Михалыча. Гаврила Романович давал последнему какие-то наставления по хозяйству.

– Да гуся-то фаршированного смотри не забудь, – говорил он. – Иван Афанасьич у нас, сам знаешь, какой знаток по кухонной части.

– Как не знать-с, – отвечал Михалыч. – Анисовки нонче, сударь, отменно уродились; так с свежей капустой такой фарш дадут... А на счет февереку-то как прикажете?

– Ну, это – по части молодого барина, Семена Васильича: с ним и столкуйся.

Далее Дмитревский разговора их не слышал: в дверь к нему осторожно заглянул его казачок. Убедившись, что барин не спит, он вошел с вычищенными сапогами и платьем.

– Будете одеваться, сударь?

– Да, пора.

Оканчивая уже туалет, Иван Афанасьевич случайно увидел в окошко живую группу: на ступеньках крыльца сидел Гаврила Романович в неизменных своих колпаке да халате, а вокруг него толпилось человек двадцать босоногих деревенских ребятишек.

– Каждое утро, вишь, у них здесь тоже, сказывали мне, – пояснил казачок, – молитвы учат да ссоры ребячьи разбирают.

– Подай-ка шляпу да вон тетрадку, – сказал барин и, опираясь на казачка, вышел также на крыльцо.

Державин сидел к нему спиной и не заметил его прихода.

– Ну вот так-то; на сегодня и будет с вас, други мои, – говорил он и, взяв в руки стоявшую рядом на ступеньке корзиночку с медовыми пряниками, стал раздавать их детям.

Те наперерыв выхватывали их из его рук.

– А мне-то! Мне, дяденька!

– Отчего же нынче, дяденька, не крендели, а пряники? Нешто нынче праздник? – сыпались вопросы.

– И какой еще праздник-то! Приятеля закадычного из Питера чествую, – отвечал «дяденька».

– Вон этого самого?

Державин обернулся.

– А! Иван Афанасьич! Вы здесь? Ну, как почивать изволили?

– Благодарю вас, – отвечал тот. – Да я вам, ваше высокопревосходительство, не мешаю ли?

– Нет, мы с ребятами как раз покончили. Вот что, детушки: ступайте по домам да скажите парням да девушкам, отцам и матерям, что, мол, всем им от меня тут угощение будет. Поняли?

– Как не понять! Не в первый раз...

– Ну, пошли. С Богом!

Весело горлая, дети врассыпную бросились прочь от крыльца. Тут между тем Гаврила Романович увидел свою заветную тетрадь в руках друга-актера.

– Ага! Прочли? – спросил он, и в глазах его забегал беспокойный огонек.

– Прочел-с... Очень хорошо... – невнятно пробормотал Дмитревский и, не глядя на Державина, подал ему тетрадь.

Сидевшая за пазухой Гаврилы Романовича Тайка ошибочно поняла движение гостя и сердито на него заворчала.

– Ну, ну, ну! Не тронет он меня, – успокоил ее хозяин и дрожащими пальцами стал перебирать листы тетради. – Много, кажись, замечаний...

– Ваше высокопревосходительство, – отвечал Дмитревский, – будьте совершенно спокойны, – эти замечания я делаю не для вас; но, вы знаете, на театре всегда бывают прощелыги, которые готовы за все придираются к авторам. От них-то я и хочу уберечь вас.

– Бывают, ох, бывают! – вздохнул Державин и указал себе на шею. – Вон где они сидят у меня!.. Ну, да Господь теперь с ними! Милости просим на балкон: кофей, верно, уж ждет нас. Вы ведь там, кажись, еще не были?

– Нет-с.

– Ну вот, пойдемте, посмотрите при утреннем освещении, каков вид-то!

Целым рядом комнат прошли они на противоположную сторону дома и вышли на балкон. Солнечное утро пахло им навстречу; оба старика поздоровались с суевившейся около дымящегося самовара Прасковьей Николаевной, такой же свежей и розовой, как солнечное утро.

– Она у меня ведь ранняя пташка, – сказал Гаврила Романович, – прочие неженки, изволите видеть, еще сладко дрыхнут, а она уж все для нас приготовила.

– Можно, дяденька, налить вам и Ивану Афанасьичу? – спросила племянница и взяла кофейник.

– Наливай, душенька, наливай, а мы вот с ним покуда оглядимся.

– Что, вас никак смущают сии смертоносные орудия? – с усмешкой спросил он, видя, что гость в недоумении остановился перед одной из небольших чугунных пушек, поставленных на балюстраде балкона. – Вот нынче вечером узнаете их назначение, – загадочно добавил он, – а покамест полюбуйтесь-ка картиной природы. Ну что, как находите, сударь мой?

Прислонившись к одному из столбов, на которых лежала крыша балкона, Дмитревский засмотрелся на расстилавшуюся внизу панораму. Перед каменной лестницей балкона, среди клумб цветов, бил фонтан, начиная от которого уступами шел довольно крутой спуск к Волхову. Голубая лента реки красиво извивалась между желтеющими нивами, зеленеющими лугами, а плывшие по ней барки и лодки приятно оживляли этот мирный сельский вид. У берега, прямо против усадьбы, были привязаны к плоту большая крытая лодка и маленький ботик.

– Это моя флотилия, – самодовольно объяснил Гаврила Романович, – на «Гаврииле» мы ездим всей семьей к соседям...

– На «Гаврииле»?

– Да, вон – на той лодке: она окрещена так в честь моего ангела-хранителя.

– А имя ботику, как вы полагаете, – какое? – послышался со стороны стола звонкий голосок молодой хозяйки.

– Пашенька? – спросил наугад гость, лукаво улыбувшись.

– И не угадали! – засмеялась она в ответ. – У дяди есть еще большая любимица.

– Тайка?

– Ну да!

– Так-с.

Державин только погрозил пальцем племяннице, а потом показал Дмитревскому в сторону, где за плетнем темнела кудрявая купа деревьев.

– А там мой сад фруктовый. Сам сажаю, и, не поверите, какая услада собирать потом плоды рук своих!

– Но та беседка, вон, что на холме, дяде еще милее, – заметила Прасковья Николаевна, указывая в свою очередь на видневшуюся в отдалении, на высоте, беседку, – там он по целым часам беседует со своей Музой...

– Из-за нее забывает и жену, и весь остальной мир! – внезапно раздался позади говорящих другой женский голос.

В дверях балкона стояла сама супруга старика поэта, Дарья Алексеевна. После обычных взаимных приветствий она пригласила гостя за стол и продолжала:

– Видите направо флигель? Это ткацкая, где ткутся у меня сукна да полотна. А спросите-ка Гаврилу Романыча, когда он в последний раз был там?

– И не дай Бог мне, душенька, без спросу вторгаться в твою область! – добродушно отозвался муж. – Ведь и ты не тревожишь же моей Музы?

Понемногу на балконе собралось все остальное заспавшееся общество. Веселый неумолчный говор и смех огласили воздух.

– Только не по-заморскому болтайте, детки! – заметил Гаврила Романович, когда послышалось несколько французских фраз. – Смотрите, чтобы с вами не случилось того, что друг мой Шишков, Александр Семеныч, проделал с девицей Турсуковой.

– Что ж он сделал с нею, дяденька?

– Что? А вот что. Был у этой девицы роскошный альбом, вывезенный из Парижа; были в нем рисунки разных светил живописи, а подписи-то все были французские, даже русских художников.

– Какой позор! – сказал Александр Семеныч. – Русский художник рисует для русской девицы – и стыдится подписаться русскими буквами; совсем исковеркал свое бедное имя!

Как на грех подвернулся тут шутник-племянник (на манер вот моего Сени).

– Да не угодно ли, – говорит, – дядя, перо и чернил?

– Давай! – сказал Александр Семеныч; взял перо, обмакнул в чернила да и переправил все как есть подписи на русский лад; а на первой, заглавной странице настроил собственный куплетец:

Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала;
Ты честь, хвала отцу, матери,
Сухота сердцу молодецкому.

Внизу же, как подобает, расчеркнулся:

«Александр Шишков».

Анекдот хозяина еще более развеселил молодых мужчин. Барышни, напротив, надули губки.

– А что же сказала девица на такую непрошеную любезность? – спросила одна из барышень. – Поблагодарила?

– От радости слов не нашла: расплакалась, а альбом отправила опять в Париж – вывести помарки; но стихи Александра Семеныча не похерила-таки, сохранила!

– Теперь, однако ж, и Александру Семенычу икается, – вступился за обиженную девицу Дмитриевский.

– Что так?

– Да так-с... Задевают уж больно его с «Беседой» молодые «карамзинисты»: сочинили стихотворный пасквиль...

Тут кстати будет сказать несколько слов по поводу упомянутой Дмитриевским «Беседы» – литературного общества, к которому принадлежал и Державин.

Когда в конце прошлого столетия начинающий еще писатель Карамзин стал печатать свои «Письма русского путешественника», чисто разговорный язык этих писем (помимо их любопытного содержания) возбудил к автору их симпатии большинства читателей, особенно молодого поколения. Зато приверженцы старинного слога ополчились против него, и глава их, академик Шишков, выпустил свое знаменитое «Рассуждение о старом и новом слоге». Ближайший друг Карамзина, известный также в свое время стихотворец Дмитриев, уговаривал его написать возражение. Карамзин, который, между тем был сделан историографом (31 октября 1803 г.) и порвал уже всякую связь с текущей литературой, долго отнекивался. Наконец, вынужденный уступить, он написал обширную статью против Шишкова и прочел ее своему приятелю.

– Одобряешь? – спросил он его.

– И весьма! – был ответ.

– Ну вот, – сказал Карамзин, – я исполнил твою волю. Теперь позволь мне исполнить свою...

И с этими словами он бросил тетрадь в камин.

Но друзья его не уgomонились. Молодой талантливый писатель Дашков в брошюре своей «О легчайшем способе отвечать на критику» разобрал «Рассуждение» Шишкова, как говорится, по косточкам и доказал незнание им основных правил русского и славянского языков. Вслед за ним и прочие молодые литераторы в журналах и отдельных брошюрах осыпали Шишкова градом насмешек. Тот бросился за советом к своему сотоварищу по старинному слогу, Державину: что ему делать?

– Да махнуть рукой, – отвечал Гаврила Романович совершенно в том же примирительном духе, как отвечал Дмитриеву Карамзин. – Мудрость в середине крайностей. Дунь на искру – разгорится, сказал Иисус Сирах, а плюнь – так погаснет.

Шишков на вид смирился, не стал препираться с врагами печатно. Но по его почину шишковисты (как назывались тогда последователи старинного слога) начали собираться друг у друга для «противоборства нашествию иноплеменных». Большая часть «шишковистов» были литературные посредственности, о которых в наше время даже никто и не говорит. Но были между ними и выдающиеся таланты: Державин, Крылов, Гнедич, князь Шаховской (Гнедич, впрочем, впоследствии вышел из их кружка). Державин, у которого был прекрасный барский дом в Петербурге, с колоннами по бокам и статуями четырех богинь над главным фасадом, отвел у себя для этих сборищ большой зал в два света, а на хоры поставил орган. Так образовалось литературное общество, сначала названное «Ликеем», потом «Атенеум» и наконец «Беседой, или Обществом любителей российской словесности». Устав нового общества был представлен министром народного просвещения графом Разумовским на высочайшее утверждение, и первое публичное чтение «Беседы» состоялось 11 марта 1811 года. Ожидали даже, что будет государь. Для приветствия его Державин сочинил гимн «Сретение Орфеем Солнца», который Бортнянский положил на музыку. О новом обществе шло в высшем кругу уже так много толков, что на первое заседание стеклась вся столичная знать, числом не менее 200 человек. Но государь чем-то был задержан и не приехал. С тех пор собрания «Беседы» вошли в моду, и весь цвет Петербурга – блестящие мундиры и бальные платья разукрасили державинский зал. «Беседа» гремела и торжествовала, особенно с тех пор, как Шишков, один из четырех председателей ее (другими тремя были: Державин, А. С. Хвостов и Захаров), сделался президентом Российской академии, а попечителями четырех отделов «Беседы» были назначены четыре министра, в том числе прежний недруг Шишкова, Ив. Ив. Дмитриев, а Карамзин, родоначальник молодой партии, был избран в почетные члены «Беседы».

И вдруг теперь, когда он, Гаврила Романович, правая рука Шишкова, удалился только на лето в деревню, чтобы набраться к осени свежих сил, близкий приятель и гость его, Иван Афанасьевич Дмитревский, сам состоявший почетным членом «Беседы», позволяет себе во всеуслышание, при его домашних, говорить о каком-то пасквиле на Шишкова!

– Да автор-то пасквиля не известен? – спросил Державин, нахмутив брови.

– Называют Дашкова.

– Опять этот Дашков!

– А вы, Иван Афанасьич, не помните тех стихов? – неосторожно спросил один из молодых людей.

– Как не помнить. Не совсем еще память отшибло.

– Скажите их нам!

– Да вот, как дядюшка ваш...

– Позвольте, дядя, сказать их?

– Да ведь они, верно, злы и непристойны?

– Злы – да, несомненно; непристойны – нет.

– Что ж, пожалуй, говорите, – нехотя разрешил Гаврила Романович.

Дмитревский поднял глаза к стропилам балкона и начал каким-то замогильным голосом, но с обычным своим искусством:

Мятется сонм, но вдруг, трикратно
Прокашлявши, встает Шишков, —
Шишков, от чьих речей зевают,
Кого читатели не знают,
Но знает бедный Глазунов...¹⁷
Встает – в молчании глубококом,
Благоговеют все пред ним.
Вращая всюду мрачным оком, —
В церковном слоге и высоком,
Гласит к сочленам он своим:
«Воспряньте, други, от покоя!
Настал бо лютой распри час!
На то сию „Беседу“ строя,
В едину купу собрал вас...»

Несколько раз хозяин порывался перебить декламатора, но тот упорно глядел в потолок. Дойдя до последнего стиха, он, будто спросонья, захлопал глазами, недоумевая огляделся.

– Что, не заснули еще, господа? А меня уж, признаться, совсем в сон клонит... – добавил он, зевая в руку.

– Зевота ужасно заразительна! – засмеялась одна из барышень, также закрывая рот рукою.

– Особенно когда речь идет о «Беседе», – подхватил Капнист, громко уже зевая.

Кругом раздались общие зевки, общий смех.

– И вовсе не смешно, а неприлично! – с неудовольствием заметил Державин.

– Но согласитесь, дяденька, – сказал племянник, – что чтения «Беседы» крайне сухи, и только басни Крылова несколько разгоняют скуку.

– Чтения наши, друг мой, служат не ребячьей забаве, а родной словесности: они насквозь пропитаны русским духом...

¹⁷ Петербургский книгопродавец.

– Да Карамзин-то, который написал «Марфу Посадницу», который пишет теперь «Историю государства Российского», – разве менее русский, чем мы с вами? И не сами ли вы, дядя, предложили его в почетные члены «Беседы»?..

– Вот пристал! – отмахнулся дядя. – Ты меня, любезный, чего доброго, еще в карамзинскую веру совратить хочешь?

– Да не мешало бы, дядя...

– Что?! Вот не было печали...

Дарья Алексеевна, видя, что спор их начинает принимать слишком острый характер, озабочилась дать разговору другое направление. Подойдя к перилам балкона, она крикнула вниз, к реке:

– Девчонка! А, девчонка!

Дмитревский машинально оглянулся. На плоту у берега реки стояла 70-летняя старушка с подобранным подолом и удила рыбу, никакой другой «девчонки» кругом не было видно. Но что окрик хозяйки относился именно к ней, подтвердилось тем, что старуха, наскоро оправив подол и свернув лесу на удилище, откликнулась в ответ:

– Сейчас, сударыня!

– Почему вы ее называете девчонкой? – удивился Дмитревский.

– Да так, знаете, по старой привычке, – отвечала Дарья Алексеевна. – Анисью Сидоровну дали мне еще в приданое, и она у меня здесь, в Званке, теперь то же, что у Гаврилы Романыча его Михалыч.

Когда Анисья Сидоровна поднялась по кособокому к балкону, барыня приказала ей распорядиться достать из огорода арбуз, «да поспелее».

– Гаврила-то Романыч у нас ведь, кроме арбузов, никаких фруктов не уважает, – пояснила она гостю.

До обеда Иван Афанасьевич удалился в отведенный ему покой, чтобы отдохнуть часок. Когда он вышел затем в гостиную, то застал уже там несколько соседей-помещиков, за которыми было нарочно послано в честь редкого столичного гостя. Ожидали еще из села Грузина, отстоящего от Званки всего на 18 верст, всесильного тогда военного министра, графа Аракчева; но оказалось, что тот был вызван в Павловск по случаю описанного нами выше царского праздника и в имение свое еще не возвратился.

– Знал бы, так не переодевался бы! – сказал Державин, с сожалением оглядывая на себе коричневый фрак, короткие брюки и сапожки, которые заменили теперь столь милые ему халат и туфли, и поправляя на голове парик с косичкой, заступивший место столь удобного колпака.

Несмотря, однако, на отсутствие именитого соседа, а может быть, именно благодаря его отсутствию, обед прошел чрезвычайно оживленно. Предложенный хозяином первый тост за императора Александра и августейшую мать его Марию Федоровну был единодушно подхвачен всеми.

На этот раз Гаврила Романович отказался, в виде исключения, даже от короткого послеобеденного сна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.